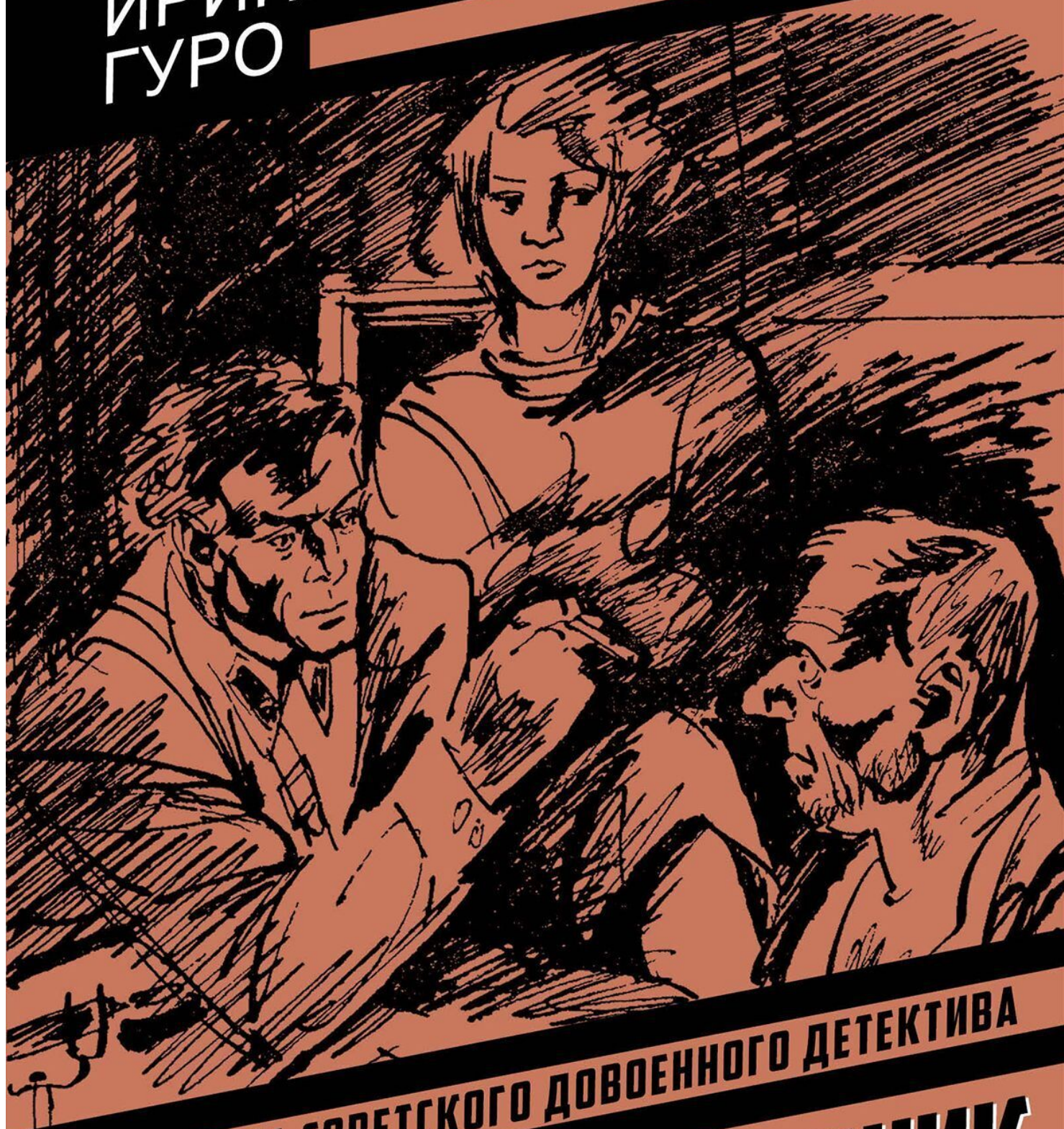


ИРИНА  
ГУРО



КЛАССИКА СОВЕТСКОГО ДОВОЕННОГО ДЕТЕКТИВА

# НЕВИДИМЫЙ ВСАДНИК

ТАЙНЫЙ  
ФРОНТ

Тайный фронт

Ирина Гуро

# **Невидимый всадник**

«Алисторус»

1960–1970

УДК 82-312.4  
ББК 84стд1-445.7

**Гуро И. Р.**

Невидимый всадник / И. Р. Гуро — «Алисторус», 1960–  
1970 — (Тайный фронт)

ISBN 978-5-00269-442-6

Героиня детективного романа «Невидимый всадник» Тая Смолокурова избрала нелегкую профессию – стала работником следственных органов. Юность – борьба с кулацкими бандами в годы НЭПа. Взросление – в роли следователя угрозыска, борющегося с преступностью и партийной бюрократией во время индустриализации. Преследуемая за верность закону, а не идеологии, она оказывается на далёкой северной стройке... Ирина Гуро в 1924 году окончила юридический факультет Харьковского института народного хозяйства. В 1923–1926 годах на судебной работе. С 1926 года в органах ОГПУ, работала в Экономическом управлении... Ее роман, как и «Записки следователя» Льва Шейна, основан на реальных событиях из жизни автора.

УДК 82-312.4  
ББК 84стд1-445.7

ISBN 978-5-00269-442-6

© Гуро И. Р., 1960–1970  
© Алисторус, 1960–1970

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Книга первая                      | 6  |
| Часть первая                      | 6  |
| Часть вторая                      | 38 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 58 |

# Ирина Гуро Невидимый всадник



Серия «Тайный фронт»



© Гуро И., 2026

© ООО «Издательство Родина», 2026

## Книга первая

### Часть первая

#### 1

День начался плохо: у меня украли ботинки. Высокие ботинки со шнуровкой спереди, которые мне сшили в заводской мастерской из папиных заготовок на сапоги. Их утащили прямо из-под гладильной доски, на которой я спала. Я боялась клопов. Они были всюду. Только в гладильной доске их не было.

Босиком я опрометью выбежала в коридор, как будто там сидел и дожидался меня вор с моими ботинками под мышкой. Дверь на лестницу была настежь, а на замки мы вообще ничего не запирали. Принципиально.

В это время зазвонил телефон. Звонил мой папа. Я еле слышала его. Можно было подумать, что он говорит не с завода в Лихове, а по крайней мере из Москвы. Хотя он надрывался изо всех сил.

– Лёлька! – орал мой папа. – Ты там с раклами спуталась, в комсомол записалась...

– Ну и что? – крикнула я, воспользовавшись тем, что папа поперхнулся от злости.

– А то, что придут белые, тебя пороть будут...

– Не придут, дудки! – кричала я.

– Тогда я сам тебя выпорю! – донеслось до меня из какой-то дальней дали попеременно с продуванием трубки.

– Руки коротки! Кончилась ваша власть! – кричала я.

– Ах ты! – заревел папа.

Я знала, что будет дальше... Накоса выкуси! Я покрутила ручку телефона: дзинь, дзинь, дзинь!.. Папа был отключен вместе с Лиховом и всем, что там, позади: беленьким домиком на краю поселка, слониками на комодке и резедой в палисаднике, со старинным граммофоном – «Танго любви», «Пупсик» – и томиком Лермонтова на этажерке – «Печальный демон, дух изгнания...» Подумаешь! Я сама теперь дух изгнания!

«С раклами!» – вспомнила я и опять вскипела: «ракло» на местном диалекте означало «жулик», «босяк», но звучало как-то даже сочнее и обиднее.

Хорошенькое утро выдалось! Я страшно расстроилась.

Не из-за разговора. Плевать я хотела на Лихово. Из-за ботинок. Теперь я буду ходить босиком. Правда, многие наши девчата ходят босиком – не зима. Но ботинки меня украшали. Мое единственное выходное платье расползлось по швам. Платочек, когда-то красный, выцвел на солнце. В ботинках мне было жарко, но я терпела.

Недавно в молодежной газете появилась карикатура: с одной стороны была изображена размалеванная и разряженная нэпманская девица, с другой – комсомолка, нечесаная, в потертой кожаной куртке. Внизу надпись: «На одной жениться нельзя, на другой – невозможно!»

Это было то, что называлось «клеветническим выпадом». Мы одевались очень аккуратно. И свои ситцевые платьишки даже крахмалили, не жалея картошки на крахмал. Вероятно, поэтому они у нас расползались.

Из кухни вышла Наташка с полотенцем через плечо.

– Кто звонил? – спросила она лениво.

– У меня украли ботинки, – объявила я.

– Что же, тебе телефонировал вор? – она сощурила свои красивые зеленые глаза.

Сёмка Шапшай говорил, что Наташа выйдет замуж за советского дипломата и даже консула... Начитался не то Гамсуна, не то Ибсена: консул Берник и все такое. Нашел кого читать в наше время! «Что такое любовь? Ветерок, шелестящий в розах...» Консула он прочит Наташке, а про ветерок читал мне.

Впрочем, было время, когда я охотно сидела с ним на Университетской горке под акцией. И Сёмка читал мне стихи, свои переводы с французского. Он читал сначала по-французски. Я не знала языка, но мне нравилось протяжное звучание стихов, убаюкивающее и многозначительное. Потом Семка переводил:

*В бесконечной тоске беспредельной равнины  
Снег, меняясь, блестит, словно гребень волны.  
Это небо из меди, без всякого света.  
Можно думать, что видишь рождение луны.*

И в русских словах было то же волшебство, то же чудо, притягательное и открывающее другой мир, существующий, да, несомненно, существующий, но как бы за высокой стеной. И в стене этой словно бы открывалась вдруг узкая, увитая плющом калитка, совсем незаметная. И была видна ночная темная акация, под которой сидели мы с Сёмкой, и кусочек мелко вспаханного ветром неба с острыми пламечками звезд. И все это виделось со стороны. Совсем со стороны я видела и себя с Сёмкой, и небо из меди, и снег... И невидимый всадник в крутом седле месяца скакал по бурунам облаков.

Все-таки что-то меня смущало.

– А ведь это, пожалуй, отрывка, – заметила я.

– Какая отрывка? – удивился Сёма.

– Что значит «какая»? Отрывка декаданса! – я сама писала стихи и знала, что к чему.

– Это не отрывка, – раздраженно ответил Сёма, – это сам декаданс.

Я насторожилась. Красивые стихи, безусловно, отвлекали от борьбы и, может быть, даже размагничивали.

Это было страшное слово! Безобидный корень «магнит» в нем начисто улетучился, и оно означало отлучение от всего, что составляло смысл нашей жизни.

А про Володю Гурко из райкома Сёмка говорил, что он узкий, как футляр от флейты. Что у него нет кругозора.

Окончательный наш разрыв с Сёмкой произошел из-за нэпа. Сёмка утверждал, что мы идем назад к капитализму и что это закономерно. А когда я ему разъясняла, зачем нам нэп и что это временно, Сёмка говорил, что я тоже футляр от флейты.

И мы разругались. А потом он вдруг сделался анархистом.

Услышав, что у меня украли ботинки, Гришка Химик, который торгует сахаринном, приоткрыл дверь своей комнаты:

– Подумаешь, у нее ботинки украли! Событие! У людей больше забрали.

– Молчи, зануда! – сказала Наташка, сохраняя невозмутимый вид жены консула, и захлопнула Гришкину дверь ударом ноги.

Через перегородку было слышно, как Гришка ругнулся.

– Слушай, а откуда мог взяться вор в нашем обществе? – спросила я, пораженная этой мыслью. – Ведь у нас обрублены все корни преступности...

– Родимое пятно, – отрезала Наташка и милостиво добавила. – Можешь носить мои деревяшки.

У Наташки были маленькие, не по росту, ноги. Деревяшки пришлись мне как раз. Я давно о них мечтала. Девчата с особым шиком постукивали ими по тротуару. Поэтому они

назывались еще «лапщым-дрищым». Когда стояла жара, деревяшки не стучали, а оставляли на мягком асфальте вмятый след. Если ремешки, на которых держалась деревянная подошва, обрывались, то «лапщым-дрищым» складывались бутербродиком и засовывались в портфель, а их обладательницы продолжали путь босиком.

Мы все ходили с туго набитыми портфелями. В них носили пайки хлеба, протоколы собраний и стихи пролетарских поэтов, которых мы слушали на вечерах в Пролеткульте. Когда Панкрат Железный, потрянув темным чубом, начинал читать своим могучим голосом про революцию, про войну, про эпоху, честное слово, мы чувствовали себя Маратами и Сен-Жюстами... А что? Почему бы нет? Мы тоже делали революцию. При этом пролетарскую, а не буржуазную. И не на какой-то короткий срок, а навсегда!

Пока я прицепляла деревяшки, Наташка излагала свои соображения, она ведала в нашей коммуне низменными делами: насчет пропитания.

– Осталось: хлеба – полбуханки, пшена – с кило, подсолнечного масла – на доньшке. Три воблы. И картошки – семь штук.

– Можно нажарить картофельных оладьев, – легкомысленно предложила я, занятая деревяшками.

– На чем? На слюнях? – прищурилась Наташка.

Но я уже убежала.

– На «Везувий»? – осведомилась Наташа.

– На «Этну», – отозвалась я на бегу.

На окраине города, в улочках, носящих живописные названия: Зеленая, Вешняя, Смо-родинная, приютились маленькие фабрички, громко именуемые: «Везувий», «Этна» и «Гекла». Они производили спички. «В порядке нэпа» их вернули старым владельцам. Я руководила кружками политграмоты на этих предприятиях.

На «Везувии» кружок посещала пожилая уборщица Сара. Она всегда задавала один вопрос: «А бог есть?» И как я ни распиналась, видно было, что сомнения гложут Сару, и она опять кротко спрашивала ни к селу ни к городу: «А бог есть?»

Вдруг она перестала приходить на кружок. Нам даже не хватало ее поникшей фигуры и вечного вопроса о боге. Потом выяснилось, что староста кружка Колька Гнездилов «частным образом» сообщил Саре, что бог есть, и она успокоилась. Поступок Гнездилова мы строго осудили. Вопрос стоял даже так, что следует навестить Сару и все-таки разубедить ее в существовании бога. Но никто не соглашался дезавуировать Кольку Гнездилова.

Я разъясняла рабочим, что они трудятся на капиталистов временно, что государство поддерживает все их классовые требования, а хозяев ждет неминуемый конец.

На «Этне» мои речи слушал ее владелец Абрам Шапшай. У него было жирное розовое лицо и большой живот, он выглядел как настоящий классический буржуй с плаката. Он слушал меня внимательно и, по-видимому, вовсе не боялся, что ему придет конец. Он не особенно переживал и то, что Сёмка, его сын, ушел из дому, отрастил длинные волосы, называл себя «пламенным чернознаменцем» и кричал на митингах: «Анархия – мать порядка!»

«Был бы порядок, а кто его мать, так мне уже все равно», – говорил Абрам Шапшай, поглаживая живот под полосатым фланелевым жилетом.

Я рассказывала о происхождении общества, щедро используя лекции Котьки Сухаревича об ужасной жизни первобытного человека.

Однажды, когда я рисовала картины будущего без капиталистов и эксплуататоров, Абрам Шапшай вдруг поднял руку, как это делали мои слушатели, и задал вопрос:

– А куда, например, денусь я лично? Спички Советская власть, допустим, будет резать сама. А куда же денут меня персонально?

Я хотела сказать, что ему придется заниматься каким-либо общественно полезным трудом, но никто из моих слушателей все равно не поверил бы, что Абрам Шапшай на это способен. И, разозлившись, я ответила:

– Это нас мало интересует. А пока что, господин Шапшай, вы бы лучше перестали переводить назад фабричные часы и таким образом заставлять рабочих работать на час дольше.

Возвращалась я вечером. Ужасно хотелось есть. Удивительно: целый день я вовсе не ощущала голода. Пока произносишь речи, есть не хочется. Но сейчас, когда все кончилось, я уже не пристукивала задорно деревяшками, а шаркала по асфальту, и видение картофельных оладьев прямо-таки терзало меня. Наташка отлично жарила эти оладьи.

Вообще она все умела. Несмотря на то, что выглядела женой дипломата. Воображаю: Наташка со своими золотыми косами вокруг головы и в шелковом платье, а вокруг вьются буржуазные послы и шепчутся: «Ах, ах, какая королева эта советская дипломатка! Не зря мы их признали!»

Я любила Наташку. Она была всего на два года старше меня, но как-то получилось, что она совсем взрослая, а я... Может быть, это потому, что она хоть недолго, но уже побывала замужем, а у меня даже настоящего романа не было. У меня была несчастная любовь, но это в счет не шло.

Поток моих мыслей внезапно прервался: лопнул ремешок деревяшки. Прихрамывая, я свернула в бывший сквер. Бывший – потому что скамейки давно порубили на топливо, а траву вытоптали. Я села на песок и отвязала деревянные.

Два молодых нэпмана в соломенных панамах и клетчатых брюках проходили мимо, оглядели меня, и один спросил ехидно:

– Без башмаков, леди?

Я помнила, что это из какой-то классики. Тем хуже! И я показала им язык.

Из котла с асфальтом выскочили два беспризорника, черные и патлатые, как черти, и с улюлюканьем погнались за нэпманами.

Тротуар уже охладился, идти босиком было приятно. Я взбежала по лестнице мимо замаскированных белилами бывших зеркальных дверей бывшего парикмахерского салона «Эдем» и чуть не сбила с ног парня, стоявшего перед дверью в нашу квартиру и сосредоточенно что-то рассматривавшего,

Я вспомнила про украденные ботинки, по тут же мне стало неловко: передо мной стоял юноша пролетарского происхождения, или скорее крестьянского – из бедняков, в полотняных брюках, ситцевой косоворотке и потрепанных сапогах. Он был рыжий. Остальное я в спешке не рассмотрела.

– Что ты тут делаешь? – спросила я.

Юноша нисколько не растерялся, а вроде даже обрадовался:

– Та я вже другий раз прихожу. Не зрозумію, що це такі гланди...

– Гланды?

– Ось, – показал незнакомец, – и ще дали, бачишь? Ка-це-не-лен-бо-ген... А?

Да, на двери действительно торчали обломки белой эмалированной дощечки, и на них можно было прочесть слово «Каценеленбоген», почему-то теперь и мне показавшееся загадочным. Дальше было обломано, а внизу опять сохранился кусочек дощечки со словами: «Удаляються гланды».

Мы видали эту обломанную дощечку каждый день, но не придавали ей значения, которое, видимо, усмотрел в ней незнакомец.

Что такое гланды, я точно не знала, кажется, это была какая-то болезнь. Юноша отнесся к моему предположению с недоверием:

– Невже то якась хвороба? – он был разочарован.

– А ты что думал?

– Я так располагал, что гланды – то якись буржуи чи мешочники... Воны удаляются геть з нашего общества.

– Нет, все проще, – сожалея, сказала я.

– А каценелен?

– Просто фамилия врача.

– Ни, цього не буває, – решительно возразил парень, – тут щось друге.

Он вытащил из-за голенища потрепанную тетрадочку, согнутую пополам, как это делают для записи иностранных слов. Послюнив карандаш, он записал на чистой странице удивительно четким, красивым почерком: «Гланды», а на другой стороне – «Каценеленбоген». Мои объяснения он игнорировал, и я предложила ему:

– Пойдем со мной, там тебе все объяснят.

Я полагала, что Котька Сухаревич просветит любознательного незнакомца.

– Как тебя звать? – спросила я.

– Гнат Хвильовий.

Я толкнула незапертую дверь, и мы вошли.

В коридор доносились звуки рояля: Гришка-сахаринщик опять играл «Молитву девы». Услышав шаги, Гришка выскочил в коридор.

– Там сидит ваш дядя, – сообщил он мне и добавил злорадно. – Он, кажется, буржуй.

– Пошел ты к черту! – ответила я.

В коммуне был большой парад: зажгли даже бра, доставшиеся нам в наследство от бывших хозяев.

Мы, конечно, не знали, что это именно бра, и называли их простецки – фонарями, пока Гришка не сказал: «Серость вы! Фонари горят на улицах. В приличных городах, конечно, и не при Советской власти. А в гостиных – бра!..»

Дядя сидел на табурете, заложив ногу на ногу. Действительно, на нем были носки. Полосатые носки, как при царизме.

Дядя, в пенсне на длинном хрящеватом носу и в носках, сидел на табурете посреди комнаты, словно видение из другого мира, а вокруг на койках разместились наши коммунары, и все таращили на него глаза.

Я хотела назвать дядю по имени-отчеству – не могла же я самым мещанским образом выпалить: «Здрасьте, дядя!», – но от волнения забыла дядино отчество и потому сказала:

– Здравствуйте, товарищ Лупанов.

Дядя удивился и ответил:

– Здравствуй, товарищ Лёлька!

А Котька Сухаревич ни с того ни с сего захохотал.

Котька появился в коммуне недавно. Мы его вырвали из мелкобуржуазной стихии. Стихия была у него дома.

Дело в том, что Котькина мама шила корсеты нэпманкам. Корсеты были в наших глазах такой же неотъемлемой частью капитализма, как, скажем, прибавочная стоимость, а изготовление их, конечно, занятием позорным. И мы не могли мириться с тем, что наш товарищ Котька, лучший оратор школьной ячейки, будет вариться в буржуазном соку своей семьи.

Мы постановили: Котьке публично отречься от матери, которая делает предметы роскоши для толстых нэпманок, и от отца, который частным образом штампует крючки, кнопки и запчасти для этих корсетов.

Но Котька отказался. Не по каким-нибудь идейным причинам: «Я, – сказал он, – публично про корсеты говорить не буду. Это если бы у меня родители были попы, служители культа, тогда надо было бы публично отречься, чтобы использовать трибуну для антирелигиозной агитации. Корсеты не опиум, корсеты сами собой отомрут в процессе развития нашего общества».

– Мать тебе прислала гостинец, – дядя показал на гладильную доску. На ней лежал узелок. Я узнала мамин клетчатый платок, завязанный уголками кверху.

– Чего еще? – грубо спросила я: не доставало, чтобы мать туда впихнула еще какие-нибудь бабские шмутки!

Пять пар голодных глаз уставились на меня. Что могло быть в этом узелке? Овсяные лепешки там могли быть, вот что! Я чувствовала просто-таки всей кожей, что коммунары тоже думали об этих лепешках: мне присылали их и раньше.

Я потянула уголок платка. Боже мой, там было сало! Шматок настоящего нашего украинского сала! И еще выглядывал хвостик домашней колбасы. Они там, в Лихове, закололи кабанчика – ясно! Ведь у нас все заводские имели свое хозяйство.

Я проглотила слюнки и опять завязала концы клетчатого платка.

– Иван Харитонович! – я наконец сообразила, что дядино отчество то же, что и у мамы. – Мы не можем взять это... Я разошлась со своим отцом по идейным соображениям. И больше не вернусь в Лихово.

Я сказала это не очень уверенно, так как точно не знала, был ли разговор насчет порки «идейным расхождением».

Ребята замерли. Дядя некоторое время молчал.

Я мало его знала. Он появился у нас только после революции. Раньше он был в ссылке, в Сибири. А потом за границей. Он еще до революции был большевиком. Но с этим не вязались полосатые носки и дядины усы «в стрелку», по моде, «ушедшей на свалку истории», как у нас любили выражаться, вместе с частной собственностью на средства производства.

Когда дядя заговорил, его голос удивил всех: тихий, с интонациями раздумья, непохожий на энергичную и прямолинейную манеру, принятую у нас.

– Видишь ли, Лёлька, твой отец не буржуа, – он сказал «буржуа», а не «буржуй», – он старый рабочий. И нечего от него отмахиваться.

– Он против того, что я в комсомоле! – выкрикнула я, чувствуя, что краснею до ушей.

Дядя помолчал, погладил усы и вдруг улыбнулся. Улыбка у него была как у моей мамы: вверху, между передними зубами обнаруживалась щелинка.

– Ну и не слушай его. А узелок все-таки разверни. Устроим пир! – сказал дядя.

Наташа мгновенно схватила большой медный чайник и помчалась на кухню. Сейчас же басовые выхлопы и размеренное шипение примуса возвестили начало «эры процветания». Процветание и упадок в нашей коммуне чередовались с неуклонностью экономических кризисов капитализма. Наше благополучие зависело от получения кем-либо из нас пайка или от случайного заработка. Котя Сухаревич, например, имел огромный успех в качестве лектора в воинских частях. Восторг Котькиных слушателей материализовался в крупном, военного времени, сахарном песке и связках сушеной воблы.

За чаем мы изложили дяде принципы нашей коммуны. Мы считали себя людьми будущего. У нас были творцы будущей индустрии: Федя Доценко и Микола Шацук. Они работали на механическом заводе, который пока что занимался мелким ремонтом и делал зажималки. Котя, трибун и публицист, шел во главе нашей маленькой колонны, усыпая наш путь цветами своего красноречия. Наташа была музой коммуны: она пела неистовым контральто, отлично передававшим суровое звучание походных песен. Володька Гурко, инструктор райкома и центрфорвард футбольной команды депо Южного узла, олицетворял собой гармоническое развитие человека в коммуне грядущего. А я? Я, Лёлька Смолокурова, была рядовым коммунарком.

Пока дворцы коммуны не были построены, а те, которые достались нам от старого режима, не приспособлены для общежития, мы занимали три комнаты в бывшей буржуйской квартире.

Дом был заселен чекистами и нэпманами. Чекисты поселились, как и мы, по ордеру коммунального хозяйства. Нэпманы жили здесь и раньше, когда они еще были не нэпманами, а просто «состоятельными людьми». Гришка, торгующий сахарином, учился тогда в гимназии и брал уроки музыки. Его мама – зубной техник «с большой практикой» – занимала всю эту квартиру. А Сигизмунд Шпунт-Брагунский, «король валютчиков», несмотря на свое пышное имя, служил письмоводителем у заурядного адвоката.

Теперь все они были «продуктами нэпа». Между нами шла тихая упорная борьба. Голодные, отошавшие, мы с презрением отворачивались от сковороды, на которой Гришкина мама жарила яичницу, и от ломтей душистого белого хлеба, которые она лицемерно нам предлагала. Нас поддерживала на своих могучих крыльях вера в будущее, в то время как рыцарей нэпа трясла лихорадка временщиков.

Мы пили морковный чай, заваренный в медном чайнике, и ели пайковый хлеб, иногда с солью.

А теперь мы поглощали мамины пироги с картошкой, черные, тяжелые и рубчатые, как гранаты.

Одновременно мы с увлечением разворачивали перед дядей свои планы на будущее. Дядя слушал, и вдруг раздался его голос с той же странной интонацией:

– Я думаю, что прежде всего вам, друзья, предстоит стать солдатами.

Оживленные и уже почти сытые, мы не расслышали в его словах сигнала близкой опасности.

Я пошла проводить дядю.

– Вам понравились мои друзья? – спросила я.

По правде сказать, мне хотелось узнать, что думает дядя обо мне лично.

– Вы все – славные ребята... – он запнулся. – Но, понимаешь, уж очень самоуверенные. Меня это немного пугает, а? И мне хотелось бы, чтобы вы были... образованнее, – продолжал дядя задумчиво, словно говоря сам с собой. – Мы захватили власть. И удержали ее. Но будут еще трудности. Все не так просто. Понятно тебе?

«А что не просто? Как раз очень просто. Все-таки он какой-то старомодный», – подумала я.

Когда я вернулась, Гнат сидел на ступеньке под «гландами» и дремал. Я совсем забыла про него.

– Ты чего тут? – спросила я. – Иди домой, поздно.

– Нема у меня дому, – неожиданно ответил юноша, – я с села утик. Куркули со свету сживают.

– Куркули? Ах, злыдни!

Я вспомнила, как когда-то Володька Гурко «втокнул» меня в коммуны.

– Оставайся у нас! – тут же решила я.

## 2

Мы с Наташей отправились к ее родным на Токмаковку. Это было настоящее путешествие. Мы шли через весь город, отбивая шаг деревянными подошвами. Трамваи не ходили, автобусы тем более.

Стоял июль, было очень жарко. Местами асфальт плавился, и наши деревяшки оставляли на нем ясный отпечаток.

Мы шли сначала городом, по улицам которого деловито сновали совслужащие с портфелями, комиссары в кожаных куртках и кавалерийских штанах с кожаными леями, комсомольцы в косоворотках с маленькой красной звездочкой, приколотой на груди. Их суровый строй изредка перебивали яркие пятна нэпманских девиц в рубахообразных, по моде, платьях

диких расцветок, со спутанной гривой волос, распущенных по плечам. Девы бродили по размякшему асфальту неприкаянные, как выходцы с того света.

Мы проходили аллеями городского сада, который был расчищен и ухожен нами на субботниках, устраивавшихся по субботам, по воскресеньям и по другим дням. Мы считали, что теперь сад выглядел не хуже, чем при баронессе Ган, которой принадлежал раньше.

Мы шли, мрачно косясь на паштетные, появившиеся чуть не в каждом квартале. Почему-то все закусовые и кухмистерские назывались паштетными. Можно было подумать, что во время нэпа кормятся одними паштетами! Вероятно, владельцы не решались на гордое «Ресторан» или «Кафе». «Паштетные» – выглядело скромнее, ближе к духу времени.

Появились причудливые вывески, бог знает что сулящие. На Университетской горке над выкрашенным в канареечный цвет павильоном висела вывеска: «Производство персидских граждан. Артель». А внизу мелкими буквами: «Люля-кебаб». Мы не знали, что такое люля-кебаб. Володя Гурко уверял, что это красавец перс, «произведенный» в этом закутке. Федя предполагал, что так звали коня, из которого изготовлялась продукция заведения: жирные мясные завитки, подаваемые на железных палочках.

Иногда нэпманы, подделываясь под советский стиль, называли свои заведения сокращенно. «Растмаслопонч» – это звучало как боевой клич неведомого племени, но означало всего лишь ларек, где жарились на постном масле пончики.

Мы смотрели на балаганы под выцветшими вывесками с наскоро покрашенными твердыми знаками, как мореплаватели на неожиданно открывшиеся им острова, населенные вернее всего людоедами.

Наташины отец и мать с малышами жили в старом деревянном доме с мезонином, как у Чехова.

Мы пришли с тайной надеждой что-нибудь перехватить. Конечно, Наташина мать стала усаживать нас обедать, но мы увидели, что хлеб и картошка у них уже разделены на каждого, и сказали, что торопимся. Мы действительно спешили в нашу школу – на суд. И ушли несолоно хлебавши.

В то время мы все кого-то судили. Например, был общественный суд над Евгением Онегиным. «А за что его судить? – удивлялась Наташина мама. – В чем он виноват?» Мы разъясняли ей, что Евгений Онегин – типичный продукт дворянско-помещичьего режима, ретроград, его надо беспощадно разоблачать в глазах масс.

– А как же «ярем он барщины старинной оброком легким заменил»? – спросила Наташина мать.

Наташа посмотрела на нее с грустью:

– Не спрашивай бы ты, мать: знаем, какой он легкий бывает, оброк. Крепостник и есть крепостник.

А я вспомнила, что там дальше идет: «И раб судьбу благословил», – и закричала:

– Ваш Пушкин тоже хорош! Заодно с Онегиным против трудового крестьянства!

Наташина мама, как совершенно темная женщина, старорежимная преподавательница, ничего не понимала. А Наташин папа, техник по электричеству, сказал:

– Подымать производство надо, а вы – болтуны.

После этого делать нам тут было нечего, и мы пошли судить греческого философа Платона.

Суд продолжался очень долго. В те годы у нас всё – заседания, митинги, диспуты – продолжалось очень долго. Пока ораторы не начинали хрипеть. А в школе – пока не входил сторож Кондрат по прозвищу «Эсер малахольный» – он в начале революции с перепугу записался в партию эсеров – и не заявлял:

– Кончайте, бо я зачинаю помещению.

Здорово я ему жизни дала, Платону! Этому типичному представителю афинской аристократии, белогвардейскому идеалисту! Моя обвинительная речь произвела сильное впечатление на Кондрата. Он спросил:

- А игде ж подсудимый?
- Какой подсудимый?
- Да той, Платонов, чи кто он?

Я сказала, что Платон умер в 347 году до нашей эры. Кондрата это почему-то обидело.

В этом году мы должны были окончить школу второй ступени. Но никто не знал, как это сделать. Экзамены были отменены. Полагались зачеты, как у студентов. Но что это значит, не разъяснили. А главное, сдавать зачеты было некому. У математика два сына ушли с белыми, и он говорил про нас: «Выучишь их на свою же голову!» В школе висела записка, нацарапанная нервным почерком: «Зачеты по математике принимаются преподавателем С. Н. Касацким на дому». Он жил при школе в красивом флигеле, половину которого теперь занимала прачка Алевтина. На двери Касацкого висели уже две записки: «Звонок испорчен» и «Просьба не стучать: в доме больной».

Француженка и географ были мобилизованы на заготовку топлива.

А физик Солнушко, которого все очень боялись, и никто никогда еще не сумел на его уроке ни списать, ни подсказать, был, как оказалось, большевиком еще до революции. Никто не мог этого предположить: мы решили, что это он для конспирации так свирепствовал. Теперь Солнушко заведовал губнаробразом.

Мы пошли к нему делегацией. Ясно, что учиться в школе сейчас не время. Да и некому нас учить. Солнушко сказал делегатам, рассеянно теребя бахрому буржуйской ска-терти, покрывавшей круглый стол в его кабинете:

- Вы вот что. Вы учитесь пока сами. Вот окна в школе все поразбивали...
- Так это ж еще когда царский герб срывали, – сказал Федя Доценко.
- Ну да, да... Доски вы тоже переломали, это зря. И бумаги нет. Ну, углем на стенках пишите, решайте задачи. Книги читайте. Собирайтесь группами и читайте. Скоро все наладится. Пока учитесь сами. Неучи революции не надобны.

Идея нам понравилась. Мы выбрали преподавателем математики Федю Доценко, у него был солидный вид: он носил очки и чесучовый пиджак своего отца. Сам был высокий и жутко худой. В общем – интеллигент. А политграмоту нам читал Котька Сухаревич.

Первая лекция Котьки была на тему «От мотыги к машине». Начиналось все с первобытного коммунизма. «Страшная жизнь первобытного человека была ужасна!» – выкрикнул Котька не своим голосом и выпил стакан воды. После этого сенсационного сообщения Котька принялся в подробностях расписывать жизнь пещерного человека среди мамонтов и птеродактилей. Все стали кричать: «Хватит! Валяй, переходи к феодализму!»

Коньком нашего лектора был «период первоначального накопления». Он сыпал цитатами из Маркса и Энгельса, и мы удивлялись, как это классики умели таким образным языком писать самые научные книги: «фурии частного интереса...» или – буржуазия «производит прежде всего своих собственных могильщиков...».

Котька рассказывал про жизнь Маркса. В этих рассказах Маркс вовсе не был похож на того, которого мы знали по многочисленным портретам: дедушка с буйной бородой и крахмальной манишкой в разрезе сюртука. Он был молодым и бесстрашным, как борцы Парижской коммуны, которых он вдохновлял и поддерживал.

Мы исписали алгебраическими уравнениями стены класса. Изображения вогнутых и выпуклых поверхностей с пучками лучей на желтой клеевой краске стен учительской выглядели точь-в-точь как «Фантазии углем и мелками» модного художника Матвея Свободного. «Пифагоровы штаны» поместились, как им и полагалось, в раздевалке.

Гнат Хвильовий немедленно стал посещать лекции Котьки и Феди Доценко. И еще множество разных лекций. Он хотел знать всё. Встретив непонятное слово, Гнат всячески домогался, что оно значит, и записывал его строго по алфавиту в тетрадку. Она начиналась «аверроизмом» – выяснилось, что это философское учение некоего Ибн-Рушда, о котором даже ученый Котька не имел никакого понятия, – и кончалась «язвой сибирской».

Сокрушительный удар нанес Гнату Котька, открыв ему факт существования энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Это на время выбило Гната из седла, но тут же дало ему новый толчок: Гнат стал заучивать целые страницы энциклопедии. Память его впитывала все подряд с ненасытной жадностью.

– Чудовище ты, – говорил ему Федя, замученный его вопросами, – акула ты. Зачем тебе столько знаний?

– Шуткуешь! – миролюбиво констатировал Гнат и самодовольно приглаживал свой рыжий чубчик, по-деревенски начесанный на самые глаза. Его маленькое, худенькое личико, усеянное веснушками, светилось радостным светом, как у человека, выходящего прямо на цель.

Работы Гнат не чурался и устроился грузчиком на Южный вокзал. Это ему было нелегко – физической силой Гнат не отличался, но он не жаловался. А когда мы с Наташкой взялись наводить чистоту в коммуналке, Гнат побелил потолки, а стены выкрасил охрой, которую он принес с Южного вокзала, где все подряд красили охрой. Володя Гурко говорил, что это и есть начало восстановительного периода на транспорте.

В тот вечер, когда я привела Гната в нашу коммуналку и он вытащил свою знаменитую тетрадку, в которой уже тогда было тысяча двести слов, кто-то сказал:

– Слушай, да ты Ломоносов какой-то!

Гнат улыбнулся и вытер рукавом нос.

– Я сам то чую, – ответил он.

Гнат внес в нашу коммуналку что-то новое, чего мы не хотели принимать и не принимали, но оно существовало помимо нашей воли.

Он завистливо говорил Котьке:

– Тебе легко читать лекции. Тебя с детства учили. А я своим горбом знания добываю.

А Наташу он упрекал:

– Ты красивая, тебе легко жить. А я рыжий, надо мной смеются. Рыжий все горбом добывает.

Когда Котька приносил в коммуналку щедрые военные пайки и все мы на них набрасывались, Гнат, хотя и ел со всеми, всегда говорил, что мы Котьку «объедаем».

– Заткнись, философ кислых щей, – сердито бросал ему Федя. Его Гнат раздражал больше, чем нас всех, но он не переставал с ним возиться.

– Может быть, он все-таки Ломоносов, – говорил Федя.

А Наташа взялась научить Гната читать ноты и играть на гитаре. Гнат все хотел: и ноты и гитару.

В нем была страшная хваткость, его не несло по жизни, как всех нас, он скорее карабкался по ней, цепляясь изо всех сил.

Предметом восхищения Гната оказался, к нашему удивлению, живший над нами председатель военного трибунала с неподходящей фамилией Кроткий. За ним приезжала с работы большая черная машина. Кроткий спускался по лестнице не вприпрыжку, как мы все, и не тем решительным шагом, которым чеканили ступеньки рослые, ладные чекисты с верхних этажей. Кроткий спускался медленно и осторожно, словно нес самого себя, как амфору, – это слово мы вычитали из тетради Гната, – и боялся разбить.

Однажды Кроткий уронил портфель. Плотный набитый, он соскользнул по ступенькам. Гнат поднял портфель и подал его. «Будь ласка», – сказал он, улыбнувшись всем своим рыжень-

ким личиком. «Щиро дякую», – ответил Кроткий и с тех пор стал отмечать Гната острым и умным взглядом.

Гнат посещал массу каких-то необязательных лекций, записывал, запоминал. И почему-то нам это не нравилось. Определенно не нравилось. Но идея насчет Ломоносова не давала расти неприязни, и мы холили и лелеяли Гната, как могли.

Не в пример Гнату, мы учились через пень колоду, больше бегали по собраниям, судили литературных героев и без конца повторяли, что эпоха нас подгоняет, а некоторые даже говорили: «погоняет».

Все это очень скоро кончилось. В губернии свирепствовали банды. Мы прекратили занятия и записались в ЧОН – части особого назначения из коммунистов и комсомольцев.

Стрелять на полигоне настоящими патронами из винтовок было куда интереснее, чем решать задачи на стенах.

Вечерами мы тренировались в стрельбе из нагана. Тир помещался в подвале, где раньше была пекарня,

Входная дверь находилась между щитами с мишенями и «линией огня» и открывалась в перерывах между стрельбами по звонку, оглушительному, как пожарный сигнал.

Мы являлись задолго до срока, назначенного нам по расписанию, и ждали, пока «отстреляется» команда номер четыре – самые сильные стрелки ЧОНа.

Наши не торопясь осматривали оружие, вынимали барабан, протирали наган масляной тряпкой и, подложив клочок белой бумаги, долго просматривали, чист ли ствол. При этом все делали вид, что не обращают никакого внимания на «четверочников». В действительности же мы ловили каждое слово в оживленном хоре у щитов.

Наконец приходил и наш черед. Мы выстраивались на «линии огня» и заряжали оружие.

Инструктор дядя Вася, бывший солдат, седенький, маленький, с ватой в ушах, ходил за нашими спинами, приговаривая:

– Целиться под нижний обрез черного яблока!

– Не дергать спусковой крючок!

И тому подобное, уже привычное, без чего, казалось, и наган не выстрелит.

Первым стрелял Федя Доценко. Мне, как самой маленькой, доставалась последняя в ряду мишень. Выжидая, пока я выпущу последний патрон, товарищи всеми способами выражали свое нетерпение: шумно вздыхали, переминались с ноги на ногу, а Володя Гурко принимал позу бегуна перед стартом.

Не успевало отзвучать эхо моего последнего выстрела, как все срывались с мест и бежали к мишеням.

И опять мне было хуже всех: пока я добегала до своей мишени, Доценко уже успевал ее рассмотреть и отпустить на мой счет ядовитое словечко.

Да, у моей мишени было подлинно черное, безжалостное сердце: несмотря на все мои старания, оно оставалось нетронутым.

Ночью я видела странные сны: мушка вылетала из прорези и, жужжа, уносилась под потолок. Вся команда с криком гонялась за ней...

Я сказала дяде Васе, что у меня сбита мушка.

– Проверим! – холодно ответил он и вышел к барьеру с моим наганом.

Пули легли в самый центр черного круга, тесно, как семечки в подсолнухе. Пять десятков. Пятьдесят из пятидесяти возможных. Я была пристыжена.

Нетерпеливый Володя Гурко заявил, что у его нагана «тугой спуск». Дядя Вася ослабил спусковой крючок, теперь выстрел раздавался всегда неожиданно, и Володя жаловался, что не успел «выцелиться».

Стрельба продолжалась до тех пор, пока в момент прицела синеватая дымка не появлялась перед глазами и черное яблоко, казалось, начинало скатываться с белого поля.

Наверху вечер встречал нас свежестью бульвара, сиянием уличных фонарей. Но нас тянуло обратно в пекарню. Мы любили наш подвал с его запахами пороха и оружейного масла.

Строевую службу преподавал нам латыш Озол, молодой гигант с прямыми светлыми волосами и длинными белесыми ресницами. Поправляя положение при стрельбе лежа, он без стеснения дергал нас за ноги, всех, кроме Наташи, перед которой робел.

В конце концов Озол отобрал у Наташи наган и сказал, что она будет сестрой милосердия: стрелковое дело ей не давалось, пули ее уходили «за молоком» и «в белый свет как в копеечку».

Зато в строю Наташа была правофланговая – почти одного роста с Федей. Недаром Сёмка ее определял в жены консулу.

А Сёмка из города исчез. Говорили, что он струсил: боялся, что пошлют на банду. А может быть, он просто перебрался в другое место и теперь там кричит про «анархию – мать порядка» и рекомендует себя «пламенным чернознаменцем».

Куда он делся, не знал даже его папа Абрам Шапшай, который погорел на собственных спичках: у него все-таки отобрали его фабричку. Теперь это была уже не частная «Этна», а государственная фабрика «Пожар коммуны».

В любом случае Сёмка смылся вовремя: нас действительно отправили на банду.

Командовал отрядом Озол. Он был молчалив, угрюмоват, и мы только недавно узнали, что его зовут Жан. Это звучало хорошо, все равно как у парижского коммунара. И он курил трубку.

Перед выступлением мы собрались на митинг во дворе штаба ЧОНа. Это был тот самый двор, где мы каждый вечер маршировали, брали винтовку «на руку» и «к ноге» и строились: «Равнение направо! По порядку номеров рр-ассчитайсь!»

Но сейчас этот обычный, утопанный нашими ногами двор с редкими сосенками, толпящимися у забора, выглядел обжитой квартирой, которую мы покидали надолго. А некоторые, может быть, навсегда. Эта мысль только сейчас пришла нам в голову.

На митинге с напутственным словом от губкома КП(б)У выступил мой дядя. Он поднялся на трибуну, поставленную посреди двора, но не стал ни ерошить волосы, ни пить воду, как делали все ораторы. И сказал тоже не так, как все говорили:

– Рано вам, товарищи, выпало идти в бой. Молоды еще вы. Совсем ребята. Но и Советская власть молодая. Если сейчас ее не удержим, и нам, и детям нашим томиться в рабстве.

Он поднял руку и негромко добавил:

– За свободу, за большевистскую партию, за Советскую власть!

Ответное выступление Володи Гурко было кратким. Он сказал:

– Мы выступаем против лютых махновцев – банды Леньки Шмыря. Сам Ленька – уголовник. При нем советник, какой-то гимназист. В плен наших не берут: рубают на месте. Ну и мы им спуска не дадим! Да здравствует комсомол Украины!

Володя тряхнул чубом и прыгнул с трибуны, гремя винтовкой. Володя Гурко, райкомщик и центрфорвард, коренастый крепыш, был у нас за старшего.

Вечером наш отряд погрузился в вагоны на товарной станции. Вдали, в городе, еще перебивались цепочки освещенных окон, в центре – ярче, на окраине – тусклее, а здесь было совсем темно и глухо, словно мы отъехали уже очень далеко. И какое-то странное чувство охватило нас: там, в городе, ничего о нас не знали. Не знали, что мы идем воевать и, может быть, даже защищать их.

А здесь была темь, прерывистый паровозный гудок, негромкая команда и мерный стук колес: «У-ходим на бан-ду!» И все громче, быстрее, слитнее: «Бан-ду-ду-ду!...»

Потом в монотонную скороговорку колес вступила песня. Сначала одинокое Наташкино контральто, густое и напористое, бросило в молчание требовательные слова, даже приказ: «Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе!»

Потом, словно в брешь, пробитую в душевной стене тишины, устремился тесный строй голосов, в котором я различала мужественный баритон Володи Гурко и тенор Миколы.

Потом пели украинские, протяжные, с неожиданными плавными излучинами и веселыми высокими завитками песни. И уже не было слышно угрожающего стука колес: ду-ду-ду.

С песнями покидали мы наш асфальтовый берег со сбивчивым следом деревяшек, наш очаг в сиянии медного чайника над бывшим парикмахерским салоном «Эдем».

### 3

На рассвете поезд остановился среди степи. Мы проснулись от внезапной тишины: ни перестука колес, ни паровозных гудков – ничего. Дверь теплушки была отодвинута. Степь слегка курилась прозрачным газовым туманцем. Наташа подняла растрепанную голову.

– Ой, бок отлежала. Твердо как... – она потрогала свернутую у нее под головой шинель. Я отметила, что это была та самая длинная кавалерийская шинель Жана, предмет зависти наших мальчишек.

– Подумаешь! Лежишь, как принцесса, на нижних нарах и еще привередничаешь, – отозвался сверху Котька.

– Почему мы стоим, а? – Наташа приготовилась снова улечься, но в это время у вагона показался Жан с Володи Гурко, и она поспешно стала укладывать косы вокруг головы.

– Здравствуйте, товарищи бойцы, – сказал Озол.

Мы нестройно ответили.

Володя объяснил, что впереди бандюки разобрали путь, но их отогнали, и теперь там идет ремонт. Выходило, что мы проторчим здесь долго.

Жан стоял в картинной позе и курил трубку.

– Слушайте, хлопцы! – сказал Микола. – Я знаю эту местность. Здесь, вон под насыпью, дорога в бывшее имение бывшего графа Дурново...

– Ах, вы с графом были знакомы домами! – сейчас же вставил Котька.

– Так я же приезжал сюда... – пытался объяснить Микола, но Котька не унимался:

– Да-да, ты приезжал охотиться. Густопсовая охота.

– Просто псовая, – пробасил Володя.

– А у них, у графов, густо... – настаивал Котька.

Наташа приподнялась и шлепнула Котьку туфлей по голове:

– Дайте человеку слово сказать, треплы!

– Мой дядька у графа конюхом служил, – наконец выдохнул Микола, – у графа кобылка была...

– Конюхом? Фи! Мезальянс! – опять перебил Котька.

– До чего невежда! – возмутилась Наташа. – Мезальянс – это неравный брак!..

– А я про что? Про графа и кобылку. Ясно сказано было: любимая кобылка...

Володя хохотал, повиснув на железной ступеньке. Жан улыбался, не выпуская изо рта трубки.

– Ну вас к чертовой матери. Я же к чему говорю: давайте сходим искупаться, там пруды – закачаешься!

– Жан! Пусти купаться! – заорал Котька и спрыгнул на насыпь. – Отпусти! Все равно стоим! А то вшивость разведем!

Жан нахмурил брови и вынул трубку изо рта:

– Не все. Девушки, ты, ты и ты... Вы идите. Остальные на местах.

– Ура! – закричал Котька.

По дороге Микола рассказывал об удивительной жизни его дяди у графа Дурново, о том, что места эти славились своей живописностью:

– Такой журнал был: «Имение и...» В общем, имение и что-то...

– Имение и наводнение? Имение и затруднение? – подсказал Котька.

– Заткнись! – вышел из себя Микола. – «Усадьба и...»

– Усадьба и свадьба? – не унимался Котька.

– «Дом и усадьба» – вот какой журнал! Так там фотографии этого имения печатались, – наконец высказался Микола.

Проселочная дорога игриво петляла между кустами дикой акации и вдруг пошла круто-круто вниз, а там, внизу, замерцали необыкновенно ясные, словно только что протертые стекла окон, голубовато-прозрачные пруды. Ивы над ними стояли, как девы в печальном хороводе, полоскали свои распущенные зеленые волосы в воде. А выше толпились дубы, и вырезная их листва узорчатой росписью впечатывалась в синее небо. Трава росла здесь неестественно темная, местами казавшаяся почти черной, с блестками ромашек и металлическими пуговками лютиков.

Победительная прелесть этих мест обдала нас холодком. Мы молчали, готовые утонуть в этом покое, в этой красоте.

– Уйдем от ребят, – потянула меня за руку Наташа. – Искупаемся вон там, подальше.

Она потащила меня в заросли камыша. Маленькая песчаная отмель лежала ребристая и светлая, как лист рифленого железа, брошенный на берегу.

Искривленная ветла изогнулась над водой, далеко выдаваясь вперед толстым, сучковатым стволом.

– Будем отсюда прыгать, – распорядилась Наташа.

Она рывком сбросила с себя все и пошла по песку, оставляя на нем глубокие следы своих странно маленьких ног, тотчас же наполняющиеся водой.

Секунда – и она стояла на стволе, раскинув руки, балансируя... Солнечные блики по воде побежали к ее ногам, а ветки одели Наташку светотенями.

– Ты прямо как Мельпомена, – сказала я, – богиня охоты, которая голая, с луком.

Наташка прыгнула, нырнула.

– Диана это, Диана! Мельпомена насчет те-а-а-тров! А я – Ди-а-на!

Она плыла все дальше, по-мужски, саженками.

Я прыгнула «солдатиком» и по-собачьи поплыла вдоль берега. В прозрачной воде было видно, как легкое, летучее племя мелких рыбок-сибильков носится между корягами. Верно, так жили здесь и те, кто владел всей этой красотой, – в вечной игре, наслаждениях, беспечно-сти... В бездумной, бесстрастной лени. Или нет... Наверное, тут кипели свои страсти, борьба за чины, за место в свете, за милости двора...

Как это удивительно, что совсем недавно существовал несправедливый, порочный, жестокий порядок, когда одни наслаждались, а другие только мучились. И это было уже на моем веку. И я могла бы прожить жизнь рабой, как многие. И даже не знать о другой жизни! Не знать ничего! Работать двенадцать часов в «пробелках», как у нас на заводе работали женщины, или в упаковочной, где зашивали мешки. И не учиться – только церковно-приходская школа... Верить в бога, справлять церковные праздники... Это я-то? Ну да!.. А Наташка? Ну, Наташку родители дотянули бы до гимназии. Из кожи бы вылезли. А потом? Потом выдали бы замуж за старика, как на картине «Неравный брак». А Федя, наш умный, талантливый математик Федя Доценко, ходил бы за плугом, как его отец, как его дед. И куркули вынули б с него душу, как с отца Гната...

– Лё-ёлька! – кричала Наташа. – Ты там не утонула?

– «И в распухнувшее тело раки черные впились», – отозвалась я и поплыла на мелкое.

Песчаное дно приятно пружинило под ногами, я пошла к берегу, сильно размахивая руками. Солнце припекало, от меня валил пар, как от лошади.

– И-го-го! – неистово заржала я от счастья, от беспричинной радости и запрыгала по воде, высоко вскидывая ноги.

– Парнокопытное, остановись! – сказала Наташа, выходя на берег.

Она легла на живот, положив голову на сложенные крестом руки.

– Посыпь мне песок на спину, – разнеженно промурлыкала она.

– Может, пяточки почесать вашей милости?

– Почеши, – Наташка повернулась на спину и протянула свою длинную ногу с розовыми ногтями. – Ой, щекотно! – она ткнула меня ногой в бок. – Полежи спокойно хоть минуту.

Но я никак не могла утихомириться: кувыркалась через голову, зарывалась в песок и потом бежала смывать его, фыркая и отдуваясь.

– Ты дитё, Лёлька, – сказала Наташа.

– Почему ж это я дитё, а ты не дитё? Только и всего, что ты – здоровая кобыла, а я ростом не вышла.

– Я женщина, – спокойно сказала Наташа, отжимая мокрые волосы, – а ты еще недомерок.

Я обиделась пуще:

– Невелика заслуга, подумаешь. И если хочешь знать, у меня тоже была любовь.

– Да? – спокойно удивилась Наташа.

Невероятно привирая, я принялась рассказывать про свой роман с Валерием. По моим рассказам выходило, что он всячески домогался моей любви и даже говорил мне, что мы «как равнозначные свободные личности должны шествовать по жизни рука об руку». Но в последнюю минуту шествие отменилось, потому что к Валерию приехала жена.

– Так. Значит, последняя минута все-таки не состоялась? – задумчиво спросила Наташа.

– Нет, – виновато ответила я.

– Не унывай, – покровительственно сказала Наташа, – все еще впереди. А твой Валерий – он ничего. И что рябой – так это даже интересно!

– Ну уж рябой! Так, немножко...

– Как у нас говорят: «У него на носу черти рожь молотили»...

Наташка, конечно, могла издеваться надо мной, как хотела: ведь она целых две недели была замужем, пока не выяснилось, что они с Матвеем Свободным не сошлись характерами. Как Наташка мне объяснила, они остались товарищами по борьбе, и только. Конечно, Матвей совсем не хотел быть только Наташкиным товарищем по борьбе. Я помню, как он приходил к нам и все пытался выманить Наташку на улицу для разговора. Но она о нем говорила только о политике. И на улицу не шла. И Матвей перестал ходить к нам. Мне было жаль его, большого и красивого, когда он невпопад отвечал Наташке что-нибудь про мировую революцию. А про эмпириокритицизм он даже слыхом не слыхивал.

Матвей был неплохим художником, конечно, если не принимать всерьез «Фантазии углём и мелками». И он без конца рисовал Наташку.

Он рисовал ее не в том ситцевом платье, которое она носила, а в каком-то кисейном, с бантами. И говорил, что Наташка – «тургеневская девушка». Какое нахальство! Сравнивать ее с Лизой, ушедшей в монастырь из-за того, что – подумаешь! – у Лаврецкого оказалась жива жена! Или с глупой как пробка Джеммой! Конечно, Наташку это просто бесило.

Что касается моего романа с Валерием, то, по правде, хвастать тут было нечем. И, собственно, на что я могла надеяться? Ему исполнилось двадцать пять. Он был комиссаром, ездил на автомобиле. И конечно, ему «была не новость смиренной девочки любовь». Я влюбилась в него, еще когда он работал у моего отца подручным, а я просто малявкой бегала по огороду. Может быть, конечно, это потом мне показалось, что я еще тогда в него влюбилась. Но все-таки что-то было с самого начала. Потому что, помню, ужасно я плакала, когда Валерий уезжал в Петроград. Мама пекла ему пирог на дорогу, а папа говорил: «Не журишь, Валерка не пропадет, у него на плечах голова – не задница!» Это у моего папы высшая похвала.

А позже я ходила в Народный дом танцевать. У нас после заседаний партийной ячейки всегда устраивали танцы. На заседания меня не пускали, но уж на танцах я отличалась.

Однажды мы танцевали при луне на веранде бывшего хозяйского дома, хотя было еще довольно холодно и шел дождь. Я танцевала с одним парнем падеспань, и вдруг кто-то меня хватает за юбку и оттаскивает от моего кавалера. Я даже не узнала Валерку сразу: он показался мне почти старым в его солдатской папахе и кожаной тужурке. Он меня приподнял, посмотрел на меня близко и сказал:

– Лёлька, ты стала взрослая!

Тут я влюбилась окончательно. И мы танцевали с ним и вальс, и падекатр, и полечку: «Пойдем, пойдем, ангел милый, пойдем танцевать со мной!»

Потом дождь кончился, и мы убежали в сад и сидели под деревом на скамейке до рассвета. Это я первый раз в жизни сидела до рассвета.

Валерий спросил:

– Тебя дядько Пахом не вздует за то, что ночью шляешься?

Я ответила независимо:

– Вот еще чего! Руки коротки!

Мой папа был против всего: и против ячейки, и против танцев. Но со мной он не мог ничего сделать. Чуть что, я начинала кричать, что меня притесняют как личность и что папа – феодал. Папа не знал, что такое «феодал», и пугался. А мама говорила: «Не хвилюйся, Пахом! Бережи сердце».

Я спросила:

– Валерка, ты к нам заехал?

– Нет, я у директора буду жить.

– У директора? Почему?

– Потому что я комиссар. То-то. А ты пимпа курносая!

Комиссар! Мне было чудно: какой же он комиссар? Мой отец его учил сахар варить.

Валерка рассказал, как он в Петрограде вступил в партию, и бился с юнкерами, и был командиром в Красной гвардии. А теперь он приехал в командировку на наш завод от Наркомзема.

Он мне объяснил:

– Понимаешь, мы национализируем земли сахарной промышленности, тут надо навести порядок, социалистический порядок.

Я была еще не очень политически грамотная, но все-таки до меня дошло, что Валерий теперь крупный деятель. И я решила держать в тайне свои чувства. Я держала их в тайне все две недели, что Валерий был у нас в командировке.

Он был очень занят, но все-таки иногда вечером приходил на танцы, и хотя он приглашал и других девчат, но больше всего танцевал со мной. И мы катались с ним на лодке. Особенно у нас, конечно, не раскатаешься, потому что на нашем заводе в пруд все отходы спускают, а с жомовала такой вонью несет, что аж шатает, кто с непривычки. Но мы все же катались.

И мне дома несколько за это не попадало. А папа однажды выпил с Валерием и говорит ему:

– Валерка, я тебя всегда любил. Плюнь на свое комиссарство! Становись знов к аппарату, будем сахар варить. Я тебя женю. Свадьбу сыграем.

– А у тебя, дядько Пахом, невеста для меня имеется, вон Лёлька...

– Та на що тобі така пигалица! – закричал папа. – Ни кожи ни рожи, ха ей грец!

Они захохотали, а я ушла на танцы одна.

Наступила зима. Завод стал работать – ведь раньше была разруха, и сахар вовсе не варили. Потом стали варить только желтый. А теперь сахар шел белый, как при старом режиме,

но крупнее. Я бегала на сушки, где шел конвейер и на железной ленте трясло мелкой трясучкой влажный сахар. Можно было брать его пригоршнями и есть – лишь бы с завода не выносили.

В ту зиму я не училась, потому что школу развалили саботажники. Мне дали работу в библиотеке бывшего хозяйского, а теперь Народного дома: составлять каталог по десятичной системе. Я ездила в уезд на совещания библиотекарей. Там нам делали доклады о текущем моменте, о международном положении и немножко о десятичной системе в библиотечном деле.

Книг у нас в библиотеке было море-океан, потому что забрали библиотеку бывших хозяев завода и еще привезли из соседнего помещичьего имения, что осталось после пожара. Я читала запоем всё подряд.

Зима была метельная. Иногда Народный дом заносило так, что не выберешься. И я оставалась ночевать в библиотеке. Керосиновая лампа горела до утра, копоть черными мухами летала в воздухе, я читала!

Приезжал на завод Валерий. Он уже не носил солдатскую папаху, а, несмотря на мороз, щеголял в кожаной кепке «комиссарке», надевая ее чуть набекрень. В ней он мне нравился еще больше. У него были синие, блеклые, как будто выцветшие глаза. Такими становятся васильки к концу лета. Мне нравились его каштановые волосы, кудрявые после тифа, и даже оспины на носу.

Я уже хотела открыть ему свои чувства, но подумала, что успеется.

Иногда Валерий приходил ко мне в библиотеку. «На хвильночку», – говорил он. Но оставался допоздна. Мы сидели с ним в книгохранилище, где я топила почку «буржуйку», чтобы не отсырели книги. Дровишки трещали в печке. Валерка сидел на стремянке, курил роскошные папиросы «Сафо» и учил меня, как на свете жить.

– Ты, Лёлька, конечно, маху дала, что родилась девчонкой, – говорил Валерий, – еще долго, понимаешь, женщина у нас будет на подхвате. Не взять ей разом позиции. А ты не оглядывайся на то, что девка, – дуй до горы!

И для примера Валерка рассказывал мне историю своего друга Мишки Семенова, который еще недавно был грузчиком в Николаеве, а теперь «вырабатывался в крупного государственного деятеля».

Книгохранилище Валерке не нравилось.

– Слушай, давай где-нибудь поуютнее устроимся, – предложил он.

– Можно в «кабинет индивидуальной работы»... – согласилась я.

– Во! Подойдет!

– Так там холодно.

– Затопим.

– А там печки нет: камин один!

– Камин? – обрадовался Валерка. – Это же прекрасно! В Петрограде я жил в дворянском доме с камином. Где у тебя дрова?

Выяснилось, что дрова еще надо колоть. Валерка с наслаждением орудовал топором, и мы растопили камин в «кабинете индивидуальной работы».

Валерка разостлал свою тужурку на полу перед камином, и мы опять сидели до рассвета.

Мы говорили обо всем, но больше всего о мировой революции. Валерка еще немного касался проблемы пола и любви, которая вообще должна быть свободной, так как моногамия хороша только для буржуазии.

Я поддержала разговор, хотя не знала, что такое «моногамия». Когда Валерий ушел, я моментально полезла в энциклопедию и сразу узнала всё. А у Энгельса я вычитала, что моногамия родилась из потребностей буржуазного общества.

Вообще я начиталась политических книг и так здорово стала во всем разбираться, что секретарь заводской комсомольской ячейки сказал про меня: «Елена Пахомовна Смолокурова

является вполне подкованным товарищем». Слово «подкованный» в этом его значении было в большом ходу. Так что когда возчики свеклы во дворе у кузницы кричали что-то насчет подковки лошадей, то это уже не звучало.

Весной я заявила родителям, что еду учиться в город,

– Теперь ученья никакого нет, – мрачно сказал папа, – теперь революция и хаос.

Мама заплакала в передник. Меня это мало трогало: передо мной маячили огни большого города, в котором я никогда не была, и он мне представлялся Парижем прошлого века, а я сама чувствовала себя Люсьеном из романа Оноре де Бальзака.

Город, холодный, голодный, неприветливый, встретил меня дождем. Дождь шел не такой, как у нас, на просторе, а зажатый в узком переулке между двумя рядами многоэтажных домов. И пахло не сырой землей и свежей зеленью, а махоркой и мокрым асфальтом.

И не было ни «манящих огней», ни блеска, ни нищеты, ни куртизанок. А только красно-армейские патрули на безлюдной улице.

Я забежала в подъезд какого-то дома. Подъезд был внушительный. Над массивной дверью с забеленными стеклами красовалась вывеска с почерневшей позолотой. На вывеске стояло только одно слово, и то непонятное: «Эдем». Что бы оно могло означать? Вот если бы «Эйнем», так до революции была такая кондитерская фабрика. Про Эдем я не слыхивала. Может быть, сокращенное название какого-то учреждения? Но это не подходило, потому что тогда было бы «Губэдем».

Так я стояла, держа за бечевку сверток со своими пожитками, а дождь все шел и шел. Я не знала, где искать пристанище: было воскресенье, и в губкоме комсомола – ни души.

Какой-то парень, накинув пиджак на голову, бежал по улице, громко распевая: «Как-то раз милорд Керзон увидал ужасный сон!»

Он влетел ко мне в подъезд и толкнул меня плечом так, что я ощутила его крепкие мускулы под футболкой...

– Ты что, дурак или родом так? – огрызнулась я, отлетев к стене.

– Смотри, какая злюка! – удивился парень. – Я ж не нарочно. Ты здесь живешь?

– Нет, – отрезала я.

– А где?

– У тебя на бороде! – я заплакала злыми слезами. – Нигде, нигде я не живу.

– Нигде! – парень схватил железной рукой мою руку и буквально потащил меня, потому что я упиралась. Так я попала в коммуны.

Письма своим я писала «раз в год по обещанию». Кроме того, почта работала плохо. И папа попросил Валерия меня разыскать. В один летний вечер в коммуне произвел переполох щеголеватый комиссар, одетый, несмотря на жару, в блестящую черную кожу, с тяжелым портфелем в руке.

У подъезда стоял автомобиль. Большой, открытый автомобиль. Кажется, именно в таком цари ездили на коронацию. И Валерий повез меня и Наташу кататься. Я первый раз в жизни каталась на автомобиле.

Потом я как-то зашла к Валерию в его огромную комнату в первом этаже бывшего буржуйского дома, обставленную роскошной мебелью. Но все здесь было перевернуто вверх дном. Такая стояла грязь, как будто именно здесь находились земли сахарной промышленности, которые Валерка национализировал. Валерий и Мишка Семенов, про которого Валерка говорил, что теперь он уже «выдающийся деятель», лежали на широченной деревянной кровати с резными амурами и пели на два голоса: «Помню, помню я, как меня мать любила...» Они объяснили, что таким образом отдыхают от государственных дел.

И еще раз я пришла, когда Валерий был один. Он спал на кровати с амурами, укрывшись шинелью. Это я увидела в открытое окно.

Момент настал! Недолго думая, я спрыгнула с подоконника. Валерий и ухом не повел. «Может, он храпит?» – испугалась я. Нет, он не храпел, спал втихаря.

Я посчитала, что последняя преграда между нами пала, и подлезла под шинель...

Валерка вскочил, как будто ему за пазуху кинули ужа:

– Ты откуда свалилась, пимпа курносая?

– С подоконника, – ответила я и, чтобы между нами не было ничего недосказанного, сказала быстро. – Я тебя люблю и потому пришла. И не уйду отсюда до утра, – и в замешательстве добавила. – Хай тоби грец!

Это получилось не очень складно, потому что как раз было утро. Но я твердо знала, что все любовные истории разыгрываются ночью.

– До завтрашнего утра? – переспросил испуганно Валерий, и мне показалось, что он сейчас захочет. Этого нельзя было допускать ни в коем случае. Я утвердилась на кровати и крепко обняла Валерия за шею. Он не сопротивлялся. Мы лежали и молчали. Потом он сказал:

– Послушай, может, мы отложим все это?

– А чего откладывать? Чего откладывать? – зашептала я ему в ухо. Самое главное сейчас было не дать ему размагнититься!

– Ну года на два. Подрасти хоть немножко, – прохрипел Валерка, потому что я сдавила ему шею.

Кажется, все рушилось. Я сказала строго:

– Ты, Валерка, не отдаешь себе отчета в своих словах: мне шестнадцать!

И я села на кровати, потому что мне неудобно было лежа вести эту полемику.

– Знаешь, Лёлька, – сказал серьезно Валерий, – я тебе скажу откровенно: у меня нет ощущения шестнадцати...

– Вот как? А на сколько же у тебя есть ощущение? – спросила я в растерянности.

– На двенадцать! – выпалил он и все-таки захохотал.

Я сидела на краешке кровати и смотрела, как кролик на удава, в его вылинявшие глаза, на его нос с рябинками. Но он уже, как у нас говорилось, перехватил у меня инициативу.

– И вообще, Лёлька, что это такое? – нравоучительно продолжал он. – Выходит, ты – распушенная девчонка? Вламываешься в окно, влезаешь в постель к постороннему мужчине...

– Какой же ты мне посторонний, что ты говоришь, Валерка?

Наступила какая-то пауза. Но я уже почувствовала всем существом, что в эту минуту все изменилось.

– Лёлька, кисонька моя, – сказал Валерий каким-то совершенно незнакомым, размякшим голосом, даже трудно было поверить, что это тот самый голос, который звучал на весь заводской двор, когда Валерий проводил митинг.

И он сказал: «кисонька». Нет, конечно, это мещанское слово из «арсенала обывателя» он произнес случайно. Но странно, оно прозвучало для меня удивительно, прекрасно...

Валерка сел на кровати и притянул меня к себе:

– Ну, подождем годок. Пусть тебе будет хоть семнадцать.

– Если мне сейчас двенадцать, то через год будет только тринадцать, – мстительно напомнила я.

– А потом... – Валерка что-то вдруг вспомнил и отпихнул меня. – Я вообще ведь человек женатый.

Он опять был прежним Валерием, твердокаменным комиссаром в черной коже. Неужели он только что назвал меня кисонькой?!

– Где же твоя жена? – спросила я недоверчиво.

– На заводе. На сахарном заводе. Под Обояню, – с убийственной точностью объявил он и добавил. – Где директором Паршуков.

– При чем здесь Паршуков? – возмутилась я. – И вообще, что тут такого? Ты сам говорил, что любовь свободна. И Энгельс ясно указывает, что моногамия – продукт капитализма. Тут все дело в частной собственности и принципе наследования...

Я собиралась развернуться на эту тему, но на стене зазвонил телефон, и Валерка вскочил с кровати как ошпаренный. Из отрывочных Валеркиных реплик можно было понять, что звонит Мишка Семенов – что-то там у них стряслось.

– Лёлька, сматывай удочки! Сейчас Мишка Семенов явится, мы уезжаем!

– Под Обоянь? – мрачно спросила я.

– В Шлямово. Там кулаки экономию подожгли, – Валерка энергично наматывал портянки, натягивал сапоги.

– Лёлька, подай гимнастерку! Тащи портфель! Ну, все! Вали отсюда! Да куда ты в окно? В дверь иди! Ну и дуреха! Подожди! – Валерка приподнял меня, крепко поцеловал в губы, потом в волосы и подтолкнул меня к двери. Я уже взялась за ручку, но он втащил меня за юбку обратно и опять поцеловал в губы.

Потом плюхнулся на кровать, задыхаясь, словно незнамо от какой работы, и закричал сиплым голосом:

– Подрывай отсюда! Быстро!

Я в бешенстве пнула ногой дверь и вылетела в коридор. Когда я шла по двору, в окно высунулся Валерка. Он был уже в своей знаменитой кожаной фуражке набекрень.

– Лёлька, чертовка, через год! – крикнул он митинговым голосом. Я не обернулась.

По дороге домой я тысячу раз вспоминала происшедшее во всех мелочах и никак не могла понять: хорошо все это или плохо. С одной стороны, были поцелуи, и «кисонька», и какие-то обещания; мол, через год.

С другой стороны, меня вроде выставили вон. И я имела все основания считать, что у меня в жизни несчастная любовь.

Конечно, обо всем этом я не могла рассказать даже Наташке. Да она и не расспрашивала.

Пока я предавалась воспоминаниям, она не спеша одевалась и теперь сидела на песке в гимнастерке, с красным платочком на косах, уложенных вокруг головы. Только ее маленькие ноги оставались босыми: видно, Наташке жаль было всовывать их в сапоги, и она старалась отдалить этот момент.

– Скажи мне, Лёлька, – растягивая слова, спросила Наташка, – нравится тебе Озол?

– Симпатичный, – высказалась я неуверенно. – Он мне нравится как командир.

– «Как командир»... – передразнила Наташа.

– А тебе? – озадаченно спросила я.

– Мне? Мне он не нравится. Я его люблю. Закрой рот, галка влетит.

– А он тебя?

– И он меня.

– И вы объяснились?

– Это еще будет. Одевайся.

– Ау, девчата! Давайте швидче! – неслись издалека неистовые крики, словно мы были в какой-то чаще.

И мы с Наташкой быстро и без сожаления покинули этот берег, не догадываясь, что провели здесь самый счастливый час своей жизни.

#### 4

Мы все выросли в деревне или в заводских поселках. Мы умели управляться с лошадьми, варить на костре пшениный кулеш и наматывать портянки так, чтобы на марше не стирать ноги.

Стрелять стоя и лежа, окапываться, продвигаться перебежками или ползком, бросать бутылки-гранаты нас научили в ЧОНе.

И нам казалось, что бойцы мы хоть куда.

Место, где мы расположились, было мне хорошо знакомо: мы ходили сюда из Лихова по ягоды. Сейчас нам приказали не разбредаться по лесу, а держаться возле шалаша, поставленного на поляне. Здесь расположился весь наш отряд. Пестрый народ... Рабочие со СВАРЗа оставались в промасленных куртках из чертовой кожи, перекрещенных ремнями и пулеметными лентами. А нам выдали красноармейское обмундирование, неловко болтавшееся на наших худых плечах, и только на коренастом Володьке сидело оно так же ладно, как майка с зеленой поперечной полосой – отличительный знак футбольной команды Южного узла. А на голове он носил свою старую железнодорожную фуражку.

Наша коммуна была здесь в полном составе. Отсутствовал только Гнат. Военная наука ему давалась трудно, но он старался. Почему теперь его не было с нами? Володя Гурко спросил у Озола. Тот ответил хмуро:

– Хвильовий – дезертир.

Никто из нас не мог этому поверить.

И только Котька произнес с сомнением:

– У него, у Гната, улыбочка какая-то неверная, многослойная какая-то. Сверху одна, снизу другая...

– Невразумительно, – сказал Федя, который любил справедливость.

Наш отряд выбил бандитов с пивоваренного завода. Это была маленькая группа, которую мы громко именовали бандой. Она вела бестолковый, неприцельный огонь, врассыпную отступая огородами. Командир приказал не преследовать их: берегли силы для главного удара. Об этом «главном ударе» толковали вкряк и вкось с первого же дня. Но настоящих боёв все не было.

Разгоряченные ребята ворчали.

– Вот и нужно было на плечах противника ворваться в его штаб-квартиру, – говорил Микола. Он любил выражаться военным языком.

– Штаб-квартира Ленки Шмыря – это смешно! Скорее логово, – сказал Володя и добавил. – А где эта штаб-квартира, тебе известно?

Микола пожал плечами.

– Вот то-то!

И хотя успех наш был самый маленький, этот день был какой-то праздничный. Вечером ребята разожгли костер и так распалили его, что пламя поднялось выше елей. Потом все успокоилось, умолкли, задремали и проснулись от холода – костер едва тлел. Мы разбрелись собирать сучья.

На поляне я увидела Жана с Наташей. Они сидели на широком пне, прижавшись друг к другу, и молчали. Оба высокие и красивые, они показались мне людьми с другой планеты. Я тут же придумала название этой планеты – «Алмаз свободы».

Хотя я прошла совсем близко, волоча охапку хвороста, они не увидели и не услышали меня.

Под утро вернулись наши разведчики и сказали, что Шмырь стоит на сахарном заводе в Лихове.

Наше Лихово всю гражданскую войну переходило из рук в руки: то налетали банды, то врывались белые. В домах заводского поселка не оставалось целых стекол в окнах, и никто не вставлял их заново, просто забивали фанеркой. Мой папа всякий раз, как менялась власть в Лихове, делал зарубку острым топориком на колу тына. Таких зарубок было уже десять.

Во время стрельбы жители прятались по погребам, и никто не знал, кто же вошел в Лихово, пока мальчишки не скатывались вниз с торжествующим «Наши!» или с пугающим «Зеленые!», «Беляки!», «Гайдамаки!».

Беляки докатились до Лихова уже пуганые, поспешно и деловито пограбили и без задержки умотали дальше.

Гайдамаки интересовались спиртом или, на худой конец, самогоном, они подожгли поселок с двух сторон.

Больше всех свирепствовали «зеленые»: врывались в дома, убивали активистов. Они схватили семью лиховского председателя завкома Ивана Сухова, дяди Вани, и увели с собой в лес. Больше никто не слышал ни про его жену, ни про дочерей.

Все больше имен появлялось на деревянном обелиске в центре Лихова. И все это были имена, с детства знакомые мне...

Разведчики доложили: к Лихову подобраться не удалось, кругом обложено бандитскими дозорами. Селяне говорили, силы там много. Слышен пулеметный треск, на дорогах следы многих тачанок.

Надо было установить, какие силы у Шмыря в Лихове.

Озол подозвал Володю Гурко. Они коротко посовещались. Володя что-то сказал Озолу, и тот задумался. Потом я поймала взгляд командира: он был обращен на меня. Не дожидаясь его знака, я подошла. Озол сосал свою вечную трубку, его белые ресницы почти сомкнулись, словно он задремал здесь, на пне, с винтовкой, зажатой между колен.

– Ты из Лихова? – спросил Озол. – Там отец, мать?

– Да, – подтвердила я.

– Кто там знает, что ты комсомолка?

– Отец знает... – я запнулась. – Но наверняка никому не сказал.

– О! – Озол вынул изо рта трубку и широко открыл глаза. – Можешь сходить в Лихово? И вернуться?

– Да, – сказала я, смутно представляя себе, как это сделать.

– Надо... Сколько человек есть у Шмыря, сколько пулеметов? Тачанок? Трезвые люди, пьяные? Где спят? Охрана?

Я испугалась, подумав, что мне в жизни не упомянуть всего этого. И сразу подумала еще об одном: конечно же, я могу прийти к родителям. Запросто: изголодалась, мол, в городе и пришла. А как оттуда выбраться?

Пока эта мысль тяжело и неприятно ворочалась у меня в голове, из-за широкой спины Озола выдвинулся Володька.

– Я пойду с ней, – сказал он

Озол удивленно поднял на него глаза и моргнул, словно стряхивая снег с ресниц.

– А ты... как?

– Послушай, Жан... – Володька придвинулся к командиру и поставил ногу на пенек. – Я иду с ней под видом... жениха. Мы пришли получить согласие на нашу свадьбу. И торопимся обратно в город.

«Жених», «свадьба», «согласие родителей»... Все это были слова, бесповоротно изгнанные из нашего лексикона и почти неприличные. Вроде корсета. Я просто не знала, на каком я свете, слушая, как уверенно оперировал ими Володька.

– О! – опять произнес Озол и умолк надолго.

Я уже думала, что его молчанию не будет конца, тем более что он, выбив трубку о каблук сапога, опять стал не торопясь набивать ее. Наконец он ее разжег и сказал веско:

– Володька, ты умный человек.

Мы переоделись. Володька сменил гимнастерку на Федин пиджак, я надела Наташкино платье – смешно было думать, что Наташа не всунет в вещевой мешок свое голубое платье. Оно

было мне до пят, и мы подшили подол. Володька опустил по нагану в карманы своих галифе. Теперь мы были пара хоть куда! Умереть со смеху можно было: жених и невеста!

Из города в Лихово обычно отправлялись рабочим поездом до станции Веселая Лопань, а потом пешком, если не попадалось попутной подводы. Так как наш отряд отклонился в сторону от линии железной дороги, я предложила выйти к ней в районе станции: наверняка встретятся какие-то лиховцы, и мы придем вместе с ними, это будет как-то естественнее. Во всяком случае, так мне казалось.

Никогда в жизни я не думала, что домой мне предстоит вернуться при таких обстоятельствах. Да и вообще, меньше всего я собиралась туда возвращаться. Да ни за какие коврижки! И вот, пожалуйста! Смущал меня и Володька. Мне заранее было чертовски стыдно за резеду, слоников, за эту ужасную отсталость и мещанство в отцовском доме.

А как надо представлять жениха? Падать в ноги и просить благословения, как у Островского? Я воображала, как заохает мама и злорадно – обязательно злорадно! – скажет мой аполитичный отец: «Вернулась все же! Вертихвостка!» А может, и похуже чего загнет! И уж совсем невозможно было вообразить, как он отнесется к моему «замужеству».

Мы бодро шли по шпалам и обсуждали текущие события. Нам с Володей всегда не хватало времени для этого. И хотя момент был не очень подходящий, но нам так хорошо шагалось в ногу со шпалы на шпалу, то шире шаг, то короче, а сбоку гудели провода, и где-то далеко-далеко коротко отзывался маневровый паровоз.

И мы были совсем одни, если не считать редких случайных прохожих, с которыми мы вежливо здоровались, как принято в деревне или на проселочной дороге. А один раз попался нам навстречу старик – путевой обходчик со своей тяжелой сумкой, которую он рад был на несколько минут опустить на балласт.

И Володя со знанием дела поговорил с ним о состоянии путей, а заодно выяснил, что на станции «нема ни красных, ни зеленых», а только начальник и телеграфист, которые «спереляку» после ночной стрельбы «накачались до положения риз»... А больше нас никто не отвлекал.

И мы прежде всего оценили международную обстановку. Одобрив поведение наркоминдела товарища Чичерина на конференции в Генуе. Конечно, Владимир Ильич сам направлял работу нашей делегации. Но каково было советским дипломатам в этой волчьей стае?

Володя признался, что, случись ему попасть в такую переделку, как Генуэзская конференция, он бы не выдержал! Уж какому-нибудь прихвостню Антанты врезал бы. Особенно если бы прихвостень стал, как они это любят делать, обзывать нас «узурпаторами», что по существу означает «разбойники с большой дороги».

– А ты смогла бы? – спросил Володя.

Я честно ответила, что нет. Наверное, я не сумела бы спокойно вести деловые переговоры с капиталистами. Тем более, что из живых капиталистов я помнила только глухую бабушку сахарозаводчика Бродского, которая жила в лиховском барском доме и ни на какие, даже деловые, переговоры способна не была.

Мы еще высказались насчет нахальства империалистических держав, которые мечтают содрать с нас царские долги. Еще чего!

Внутренние дела государства нас беспокоили меньше, поскольку союз рабочего класса с трудовым крестьянством был обеспечен. А то, что мы еще не расправились с бандами, так это было дело самого ближайшего времени. Так мы считали.

Мы коснулись еще многих вопросов, в том числе литературы и искусства. Володя, стесняясь, открыл мне: он не понимает «Облако в штанах». Не понимает, и все. Но здесь я проявила должную непримиримость: Володя не вник в «Облако», это доказывает, что он примитивно воспринимает произведения искусства.

– Впрочем, это бывает, – снизошла я. – Часто самые передовые политически люди придерживаются реакционных взглядов в искусстве.

Володя тихо охнул: он не подозревал, что он реакционер, хотя бы в искусстве.

– А вот Оноре де Бальзак, – продолжала я, – называл себя легитимистом, то есть монархистом, а сам, между прочим, создал целую энциклопедию буржуазного общества, показав его с самой худшей стороны...

– Как же это? – растерялся Володя,

– Очень просто: посредством своего великого таланта, – объяснила я.

И приготовилась просветить Володю насчет французских символистов, которые были в поэзии прогрессивные, а в политике регрессивные, но в это время впереди, за «посадками», как назывались у нас кустарники обочь железной дороги, показалась красная черепичная крыша стрелочниковой будки.

– Полтора километра до станции Веселая Лопань, – объявила я.

– Что это за Лопань? И почему она Веселая? – удивился Володя.

Я объяснила, что Лопань – маленькая речка, протекающая здесь. А Веселая она потому, что когда-то тут устраивали ярмарку.

Эти исторические экскурсии были, по-моему, совсем некстати, потому что надо было думать о том, что нас ждет там, на станции. Может быть, и не следовало подходить к ней? Кто знает: начальник и телеграфист в «положении риз», а станцию тем временем, весьма возможно, захватили бандиты...

Мы посоветовались и приняли решение: дать небольшой крюк, свернув на окольную проселочную дорогу, и обойти станцию. Мы решили так еще потому, что кругом было безлюдно, и план насчет попутчиков показался нам сомнительным.

Теперь мы шли по проселочной дороге, опять совсем одни, и даже занесло пылью глубокие ее колеи, что, впрочем, было вполне понятно: население попряталось от банды, и ни один дурак по доброй воле не погнал бы лошадь ни по какой надобности под угрозой, что ее отберут за здорово живешь.

И мы шли уже молча, с опаской, и вовсе не были похожи на жениха и невесту.

Начинались коренные мои места. Сердце у меня сильно забилося, когда вдаль показался синий купол лиховской церкви. Удивительно! Он был еще синее, чем раньше: неужели наш поп Амвросий ухитрился среди всеобщей разрухи отремонтировать церковь? Впрочем, все было возможно. Амвросий был ловкач и пройдоха. И в церкви у него стояли шум и веселье, как на ярмарке. Тут совершались всякие сделки, а на паперти только что лошадьми не торговали.

Вот и кладбище. Простой деревенский погост, не тронутый духом времени. Жертвы контрреволюции были похоронены на заводской площади. Там поставили обелиск, который то разрушали белые и «зеленые», то опять восстанавливали наши. А здесь лежал разный люд. Пышные надписи об «угодности богу», о «чистых душах» и тому подобное красовались на могилах местных помещиков. И даже была одна мраморная плита какого-то ротмистра с дурацкой вдовьей надписью «Будь спокоен в том мире», как будто ему там предстояли сплошные волнения! Толпа простых черных крестов безмолвствовала. И тихо шелестели осины.

Впрочем, в дни церковных праздников на кладбище дым стоял коромыслом: на могилах собирались компаниями, вышибали пробку, стукнув по дну бутылки, «играли песни».

Вот старая фабричная труба показалась за жидкой рощицей. Не в пример церковному куполу, она порядком одряхлела. Домишки мастеровых тоже не пощадили время и непрерывные бои. И только белый с колоннами дом на пригорке выглядел гордо и значительно. Раньше ветер трепал над ним кумачовый флаг. Под его сенью и колонны, и парк выглядели уже совсем не «дворянским гнездом», каким они казались мне в детстве, когда здесь жила бабушка миллионщика Бродского и мимо наших домишек на конях проносились, сидя боком в дамском седле, дочки управляющего.

После революции дом стал Народным домом. И здесь собиралась первая заводская коммунка. И так как все ее члены, кроме дяди Вани, были ненамного старше меня, то каждое собрание обязательно заканчивалось танцами. Мы, беспартийная молодежь, сидели на веранде и терпеливо ждали конца закрытого собрания. Но вот открывались двери, и в большую гостиную важно входили беспартийные музыканты. К ним присоединялись только что закончившие заседать музыканты партийные: механик Филипп – труба и фельдшерица Мария – флейта. Они быстро переключались с политики на служение музам.

Как мало прошло времени, и нет Филиппа – убит на врангелевском фронте, и нет дяди Вани – расстрелян махновцами. Нет и Марии, красной сестры милосердия, – умерла от сыпняка. И наш флаг не полощется больше над домом...

Володька шел рядом, слегка посапывая. Мы пересекли подъездные фабричные пути и вступили на пыльную улицу Лихова. Нас никто не остановил. Прошел мелкий нудный дождик, он, вероятно, разогнал прохожих. Было воскресенье, но из окон не доносилось ни обычных звуков гармошки, ни песен, ни громкого разговора – ничего.

– Это что, всегда у вас мрачность такая? – спросил Володька.

– И ничуть даже, – обиделась я. – Может быть, просто попрятались.

Я не сказала «от бандюков» – будто кто-то подслушивал нас. Но вокруг было очень тихо, даже слишком тихо. И вовсе не похоже, чтобы в Лихове стоял Ленка Шмырь со своей разгульной, вечно пьяной оравой, – даже никакого охранения не было.

– Стоп! – тихо произнес Володька. – Смотри.

Я бы ничего не заметила.

Впритык к стене дома стояла телега. На ней – приземистый, как такса, пулемет с растопыренными сошками. Под телегой лежал, накрывшись кожухом, человек, выставив наружу ноги в красных бархатных галифе и английских ботинках.

В доме были закрыты ставни, но у крыльца стоял самовар с сапогом вместо трубы.

– Здесь... – сказал Володька.

Раздумывать было некогда. Мы свернули за угол и остановились уже только у калитки нашего дома.

Кусты сирени вдоль забора сильно разрослись с тех пор, как я в последний раз в сердцах хлопнула этой калиткой. Я не видела, что делается на застекленной терраске, но там было шумно.

Странно! Без меня в доме решительно некому было шуметь.

Я перевела дух и поднялась по трем ступенькам, из которых одна была новой: отец наконец заменил прогнившую.

Мы остановились в дверях... Ну, уж этого я никак не ожидала!

В первую очередь бросился в глаза стол. Может быть, потому, что я была голодна. На столе стояла первоклассная шамовка. Видно, моя мама вытряхнула все, что было в доме: кроме домашней колбасы и сала, тут стояли и мои любимые голубцы. С трудом оторвавшись от них, я обвела взглядом сидящих. Они удивили меня едва ли не больше, чем голубцы и вся эта снедь: люди, которые раньше вовсе не бывали у нас в доме, сидели тут и жрали, и пили, как в кабаке. Мне захотелось ударить кулаком по столу и разогнать всю эту шатию: в первую очередь погнать метлой попа, который за то время, что я его не видела, и вовсе стал «поперек себя ширше».

Кроме него, тут восседали завскладом жулик Шлапок и молодой паренек Витька по фамилии Грустный, весовщик и еще неизвестный мне человек с лысиной, чуть-чуть прикрытой жидкой темной прядью. Ни папы, ни мамы не было.

Все уставились на меня, как на привидение. А я сияла приготовленной загодя улыбочкой. Амвросий грянул гулким басом, словно в церкви: «Девине Елене Пахомовне ни-и-жайшее!»

На его рев выбежала из комнаты мама. Маленькая, кругленькая, она бросилась на меня с воплями, я не чаяла, как вырваться из ее пахнущих луком и мылом рук. Я только непрерывно,

как можно отчетливее и громче, повторяла: «А это Володя, мой жених!» Но мама продолжала тискать меня, и поэтому получалось какое-то залихватское: «Их! Их! Их!» А Володя выделял что-то ногами: не то ножкой шаркал, не то мяч перепасовывал.

Нас без промедления усадили за стол и поставили перед нами стопки самогона. Особенно навалились на Володьку.

– Пей до дна! Пей до дна! – кричали все.

Я опьянела от одного вида наставленной тут еды.

Оставалось загадкой, во имя чего здесь все собрались. Тем более что папы не было дома.

Как выяснилось из бесполового разговора за столом, он отправился на пивоваренный завод за пивом... Господи! Какая пивоварня? Какое пиво? Мы же забрали пивоваренный завод и разграбить не дали. И склад на замке.

Ничего нельзя было понять. Одно стало ясно: здесь не знают о том, что наш отряд погнал бандюков с пивоварни. Видно, те, кто уцелел, разбежались по деревням, боясь вернуться к Леньке Шмырю.



У меня просто в голове не укладывалось, чего моя мама так старается для подобного общества. И что здесь надо Грустному? Я вспомнила, как Витя Грустный не давал белым тащить сахар с завода и напал на одного беляка с мешками. Тот побросал мешки с сахаром – и ходу! А потом белые искали Витю по всему заводу, но не нашли, потому что аппаратчики спрятали его в диффузоре. Ночью наши прогнали беляков, и Витя вылез из котла серый, как рядно, и, шатаясь, побрел домой, где его мать голосила на весь поселок.

И вот теперь Грустный в компании с попом и жуликом дует самогон! А папа, мой солидный папа, аппаратчик, уважаемый на заводе человек, словно холуй какой, бросился, шутка ли, за восемь верст киселя хлебать! – за пивом! Вот что делается!

Мне было стыдно сидеть рядом с Володькой и слушать всю эту трепотню. Человек с лысиной немного опьянел, он шепелявил и без конца повторял: «Шлышь, што ли?..» Он перекладывал этим «шлышь, што ли», словно ватой, каждую фразу. Можно было подумать, что он говорит нечто важное. А поп не был пьян нисколько.

Володька слушал эти речи, будто в них был какой-то особый смысл. Впрочем, вероятно, был. Потому что до меня в конце концов дошло, что Шмырь стянул «до себе усих хлопцев», чтобы именно из Лихова двинуть на Белые Пески, где «засели москали та чоновцы».

В Белых Песках действительно стоял наш батальон, но самое главное заключалось в том, что здесь никто, решительно никто не знал, что мы взяли пивоваренный завод, ну даже и не подозревал!

Видно, и Володьку тоже занимали эти мысли, он мне все время под столом наступал на ногу.

Амвросий опять налил Володьке стопку, мне долил. Самогон был противный, душный какой-то. Моя мама шариком каталась из кухни на терраску, с терраски на кухню, ровно наймичка какая. И улыбалась гостям, показывая щелинку между передними зубами. От всего этого у меня было страшно тяжело и смутно на душе.

– А вы, батюшка, все обычаи позабыли, – дерзко обратился Володя к Амвросию.

– Ась? – Амвросий выкатил на него свои рабы глаза.

– А «горько»? – спрашивает Володька. – Где же нам, молодым, «горько»?

– Это вы, молодой человек, перепутали, – говорит поп, трезвый как стеклышко. – Вы пока что суть всего лишь жених с невестой. А не «молодые». И ваше «горько» приходится вам как раз на свадьбу. Ныне же, если хотите знать, всего лишь помолвка.

Разъяснил поп весьма резонно, но Володька стоит на своем... И тут вмешивается в спор Грустный, начинает доказывать, что «горько» полагается нам и сполна должно быть отпущено.

Грустный, как я заметила с самого начала, был необыкновенно беспокоен, а теперь и вовсе места себе не находил, лез ко всем, обнимался и в то же время поглядывал на часы.

Под пьяные крики «горько» Володька хватает меня лапищей за шею и начинает бестолково тыкаться губами мне в щеку, и вдруг в самое ухо мое вползает его прерывающийся шепот: «Пора кончать цирк! Веди меня в комнаты».

Мы посидели еще немного. Больше всех веселился поп Амвросий. То и дело наливал он и выпивал, обращаясь ко мне:

– Ваше здоровье, Е-Пе, пока Се! – то есть Елена Пахомовна, пока Смолокурова.

– А ваше, извиняюсь, как будет фамилие? – спрашивает он Володьку.

– Тыцко, – ляпнул Володька, видно, первое пришедшее в голову.

– Ну так. Значит, пьем за Е-Се, впоследствии Те! – опять затянул поп.

Мы с Володькой прошли в комнату. Это была наша знаменитая «лучшая комната» со слониками.

– Давай уматывать отсюда. Минуты дóроги, – сказал Володька. – Мать предупреди, а то шуметь будет.

Я нерешительно двинулась в кухню, но в это время кто-то новый, встреченный бурным восторгом, появился на терраске, и я услышала знакомый голос:

– Лёлька явилась? Прекрасно! Давно пора за ум взяться!

Я видела только широкую тень на занавеске и абрис высокой смушковой шапки, какие носили «зеленые» даже летом.

Что-то там пришедшему объяснили. И опять мучительно знакомый голос озадаченно произнес:

– Что еще за жених такой? Тыцко? Откуда бы?

Дверь распахнулась, и перед нами предстал Сёмка Шапшай. Махновская шапка и редкая борода нисколько не изменили его.

– Какой же это жених? Какой же это Тыцко? Это Володька Гурко, райкомщик! – Сёмка говорил спокойно и медленно тянул из кобуры «смит-вессон». Володька опустил руки в карманы, но вытащить оружие уже не смог: сзади его схватили человек с лысиной и Шлапок. В комнате сразу оказалось много народу. Володьку окружили и повели через двор. Я побежала следом. «Задержите ее!» – услышала я голос Сёмки, но в это время из кухни вывернулась мама. Она с неожиданной силой схватила меня за руку, потащила к погребу и, прямо-таки столкнув меня со ступенек, захлопнула дверь. Я осталась в темноте среди знакомых запахов кислого молока и малосольных огурцов.

«Ужас, как глупо! Какой позор так всыпаться!» – думала я и вдруг похолодела: мне представилось, как там, во дворе, ставят к стенке Володьку. Я бешено забарабанила кулаками в дверь. Никто не отзывался: тишина... Я сбила себе руки, охрипла от крика – ничего!

Не знаю, сколько прошло времени. Снаружи глухо и неясно до меня долетели звуки стрельбы, они все усиливались, как будто бой приближался. Выстрелы смешивались с топотом коней, скрипом тачанок, выкриками.

И вдруг я услышала совсем близко, у самой двери погреба, голос моего папы. Слегка задыхаясь, он продолжал какой-то рассказ:

– Добиг я до пивоварни, а там скрозь пусто. «Где красные? – спрашиваю того старика, що у складу. – Хай тобі грец!» – «В Пески подались, – каже. – Якись, – каже, – латыш ими командуе. Мозоль, что ли, звать...»

Я увидела ясно, как будто не была заперта в погребе, папино лицо с вислыми усами и толстым носом и как он почесывает затылок.

– Ты погоду, Пахом. Описля расскажешь. Видчини ж погреб, выпусти ж Лёльку... – просит мама.

– Да хай ей грец! – отвечает папа и, кажется, собирается присесть на порог, потому что мама, слышно, сердито вырывает у него ключи...

Вероятно, руки у нее дрожат, потому что дверь все не открывается, и, потеряв терпение, я кричу:

– Да открывайте же вы! Нашли время балакать!

– Чего скандалишь, Лёлька? – слышу я Володькин голос. – Сейчас я тебя выпущу.

Дверь наконец-то распахивается. В проеме открывается сразу очень много: и кусок неба, и лопухи у забора, и Володька с наганом в руке.

– Вылезай! – говорит он мне. – Шмыря живого взяли. А Сёмку упустили – как угорь вывернулся. Твой отец наших привел.

Но папа его не слушал. Он повернулся к нам спиной и сказал маме:

– Та давай же топорик!

И сделал одиннадцатую зарубку на колу забора.

– Дай боже, щоб последняя, – сказала моя отсталая мама.

Пошли суровые месяцы, слившиеся в какой-то сплошной поток, в котором уже не различались дни и ночи, поселки и леса, станции и степные хутора, а были только окапывания,

перебежки, пулеметная трескотня, короткие злые бои, отход, бросок, опять отход... И сны, в которых все повторялось: бои, отходы, броски... Длинные сны, непонятно умещавшиеся в совсем короткие часы отдыха.

Уже никто не помнил Шмыря и никто не радовался его разгрому: банды выросли как грибы, и мы впервые поняли значение знакомых слов «гидра контрреволюции».

Матрос Наливайко рычал на митингах:

«Выд-р-р-а контр-р-р-революции гр-р-р-роз-ит нам!» А когда слушатели его поправляли: «Гидра, гидра, матросик, у ей сто голов!» – Наливайко кричал еще громче: «Такого зверя нету, а выдра – дай ей волю! – у нас последний кусок изо рта выдер-р-рет! Не дадим выдр-ре ж-р-р-ать наше мясо, пить нашу кр-р-ровь!» – «Не дадим!» – кричали в ответ наэлектризованные слушатели на фабричных дворах и сельских сходах. «Вставай, проклятьем заклеименный...» – первым начинал Наливайко, и гимн гремел, а кто не знал слов, открывал рот, словно ждал, что такие новые, такие дорогие слова сами в него влетят.

И все же только сейчас поняли, что такое «гидра»! «Гидра» – это банды, бандочки, бандищи, белые, «зеленые», от них рябило в глазах, звенело в ушах, все тело наливалось страшной тяжестью, а в груди клокотала такая ненависть, что даже во сне мы ощущали ее горький вкус...

Может быть, это и не так было, но казалось, что все тяжелое началось с дождливыми днями, которые пошли один за другим без просвета, без роздыха, и заволакивали серыми туманами долины, и гасили костры, плюющиеся искрами сырых веток, и расстилали жидкое месиво чернозема под рваными сапогами, и веяли тяжелыми запахами мокрого шинельного сукна и отсыревшей махорки.

Октябрьской ночью нас подняли по тревоге. Озол вел отряд по карте: никто не знал этих мест, диких и мрачных, словно не Украина-мать расстилалась кругом, а чужая земля дышала пронизывающим ветром прямо в неотогревавшееся наше нутро.

Командир не решился идти дальше по лесу, который гудел от стрельбы, а где были бандюки, понять нельзя было, не разведав.

– Кто пойдет? – спросил Озол. И вызвался идти старик рабочий. Может, он и не был стариком, может, ему было лет тридцать пять, только нам он казался стариком. Может быть. Я уже не видела его больше живым и не знаю этого.

Рабочий сказал:

– Я пиду, командир.

И тогда вышел мальчик, которого мы даже не замечали, – так, вился вокруг нас пацан, – и сказал:

– И я с тобой, батько!

– Пидемо, – ответил отец.

Из темноты вынырнула Наташка со своей санитарной сумкой через плечо и молча стала рядом с ними.

– Добре, – сказал старик.

Озол сделал какое-то движение, но Наташа предупредила его:

– Я пойду, Жан.

И он промолчал.

Мы кое-как расположились на поляне. Я помню, что долго не могла согреться в своей сырой одежде, а костер разжечь командир не разрешил. Потом я заснула, как в омут свалившись, и спала, кажется, всего несколько минут. Меня разбудил Володька. Было все еще темно, но на востоке, где должно было всходить солнце, расплывалось светло-розовое бессильное пятно.

– Пойдем искать их. Тревожно. Озол беспокоится. И стрельба прекратилась, – сказал Володька.

Мы пошли, Володя – впереди, я – сзади. В редющей тьме я видела его затылок под околышем железнодорожной фуражки и широкую спину в шинели, потемневшей от сырости.

Мы шли лесной тропой, уже ясно различимой в бледном свете утра. Опушка открылась перед нами. Она обрывалась оврагом.

Что-то белело на дне оврага страшной, неестественной белизной. Володька побежал по склону, и я за ним, скользя, цепляясь за мокрую и почему-то липкую траву.

Мы увидели мальчика, лежащего на дне оврага между крутых травянистых его берегов. Совсем нагой и словно светящийся, лежал он в глубокой, чуть туманной купели, в такой страшной тишине, какая не могла и не должна была быть на этом свете.

Старик висел на дереве над сыном, едва не касаясь его пальцами вытянутых ног, словно в последней смертной судороге хотел дотянуться до родной плоти.

– Замолчи! Замолчи! Слышишь? Замолчи, а то вдарю! – кричал Володька, и тут я только заметила, что все время повторяю одни и те же слова: «Они увели ее. Они увели ее».

Мы бежали по оврагу и увидели Наташку... Она не была убита. Она была растерзана.

Четыре месяца гонялись мы за бандами. Четыре месяца почерневший и сухой, как уголь, Озол водил нас по лесам и полям, то зеленым, то заиндевевшим, под гудение проводов, под свист пуль, под стрекот пулеметов, под ржание коней.

Однажды как из-под земли поднялся впереди нас отряд богатырей. В длинных кавалерийских шинелях с красными нашивками на груди. Горяча шенкелями коней, покачивая шишаками остроконечных шлемов, грозно двигались они, негромко, слаженно ведя песню про «сынов батрацких», про «вильну Украину».

Это на смену нам двинули против банд отряд курсантов Высших военных курсов имени Григория Ивановича Петровского.

Нас распустили. Мы уже не были чоновцами. Мы опять стали просто юношами и девушками. Но совершенно другими.

Медленно, волоча ноги, словно старушка, подходила я к бывшему парикмахерскому салону «Эдем». Но что это? Вечно замазанные мелом витрины были отмыты. За зеркальными окнами торчали гипсовые головки в причудливо завитых париках. Мужчины в белых халатах – мне почудилось было, что это санитары, – хлопотали около полулежащих в мягких креслах женщин. А женщины улыбались кощунственными, беспечными улыбками. Это и был «Эдем» в действии...

Потрясенная, я подымалась по знакомой лестнице, ступеньки которой, мне казалось, стали выше. Снизу я заметила Гришку Химику, стоявшего у двери с «гландами». Он свесился вниз и закричал:

– Лёлька вернулась! Ха! Вас стало, кажется, поменьше!..

И вновь засиял мне тот далекий счастливый час – я увидела отмель, зализанную волной, и маленькие Наташкины ноги с розовыми ногтями и чешуйками песка...

Если бы я была безоружна, я бы вцепилась в Гришку зубами. Но я была вооружена. Я выхватила наган из кобуры и взвела курок к бою. Я готовилась нажать спусковой крючок плавно, как нас учили... Кто-то с силой ударил меня по руке. Или это мне показалось?

Передо мной стоял незнакомый высокий старик в рыжей кожаной куртке.

– Пойдем! – сказал он мне. И я пошла.

Мы поднялись на третий этаж. Он потянул незапертую дверь и ввел меня в почти пустую комнату. Над колченогим столом висел портрет Дзержинского.

– Ты думаешь, что революция – это беззаконие? – спросил он.

Я молчала.

– Зачем тебе дали оружие? – спросил он.

– Чтобы убивать этих гадов! – ответила я, стуча зубами.

– У нас есть законы. Это законы революции. Мы должны чтить и выполнять их.

Я молчала.

– Что ты думаешь делать?

– Не знаю, – сказала я. И я правда не знала,

– Пойдешь учиться, – сказал старик и, вырвав из блокнота листок, написал на нем что-то.

– Вот, дашь ректору. Он зачислит тебя на первый курс.

Ректор? Это было незнакомое слово.

– Я не кончила школу, – пробормотала я.

– Ты уже прошла ее, – ответил старик.

И я прочла на листке печатный штамп: «Губернский комитет КП(б)У».

Вечером пришел Володя.

– Что ты думаешь делать? – спросила я, невольно повторив вопрос, совсем недавно обращенный ко мне.

– Хватит в райкоме крутиться. Пусть уж другие. А я обратно на транспорт, поезда водить.

Володя не являлся неделю. Он пришел в новенькой военной форме, в фуражке с малиновым околышем.

– Меня забрали в ДЕТО, – радостно сообщил он.

– Насчет детей? – удивилась я.

– Дура. Это транспортное ГПУ. Дорожно-транспортный отдел Объединенного государственного политического управления, – важно пояснил Володя.

Володя уходил от нас в поселок Южного узла. Мы все грустно его проводили. Все жители «Эдема», кроме Гната Хвильового. Гната не было среди нас. Он перебрался в общежитие военного трибунала. Его взяли на работу в трибунал, пока что курьером.

## Часть вторая

### 1

Скромное положение практикантки обязывало меня являться на службу раньше всех. Я выходила из дому вместе с подметальщиками улиц и почтальонами. Когда я шла через весь город, – трамваи не ходили, автобусов не было, – он казался вымершим. И даже знаменитый Пречистенский базар – Пречбаз был пустынен и молчалив, как погост в моем родном поселке Лихово, недавно переименованном в Красный Кут.

Дворник Алпатыч, ушлый старик со старорежимной бородой, расчесанной на обе стороны, сидел на скамейке, на которой обычно дожидались вызова свидетели, и курил козью ножку. Уборщица Катерина Петровна надраивала медную доску на двери с надписью: «Губернский суд».

Между ними шла обычная перепалка. Дело в том, что Алпатыч достался губсуду в наследство от самодержавия вместе со своей бородой и орлёными пуговицами на тужурке. При царе он был швейцаром, и тоже в суде, но, если ему верить, играл огромную роль в деле правосудия.

Не вникая в сущность происшедших перемен, Алпатыч считал себя ущемленным.

– Старайся, Катерина, старайся! – снисходительно говорил Алпатыч вперемежку с затяжками. – За богом молитва, а за царем служба не пропадет.

– К чему такие слова, – отвечала Катерина Петровна, нервно шаркая тряпкой по стеклу, – когда царя нету, а насчет бога в газетах пишут, что тоже большой вопрос?

Я не могла пройти мимо, поскольку тут происходило нечто вроде политического диспута.

– Вы, Алпатыч, что здесь контру разводите? За порогом пролетарский суд, а он: «Царь, бог, молитвы...» Агитатор какой! Из партии «энке»... – я имела в виду «недорезанных буржуев».

– Лёлька Смолокурова – кандидат на судебную должность! – пробормотал старик и, схватившись обеими руками за бороду, потянул ее половинки в разные стороны, словно хотел оторвать их напроочь. – О господи, пошто допустил, пошто взираешь, не разразишь на месте...

Как будто у господина только и дела было: допускать или не допускать меня на судебную должность!

Я прошла в длинный гулкий коридор. Губсуд помещался в здании бывшей монастырской гостиницы «Надеждинское подворье». Большие купеческие номера стали залами суда, а в архиерейских покоях вела беспокойную жизнь коллегия защитников.

Я шла под сводчатым потолком в глубоком раздумье. Действительно я была «кандидатом на судебную должность», как это раньше называлось, а сейчас – попросту практиканткой. Два месяца назад меня вызвал секретарь губкома комсомола Сережка Ветров и сказал:

– На юриста учишься? На втором курсе? В точку! – он набрал воздуха и уже другим, ораторским, голосом закричал. – Старых юристов на свалку истории, бросим комсомол в суды! Оздоровим органы юстиции! – и опять обыкновенно. – Мы бросаем тебя в губсуд. Путевку получишь в орготделе.

И вот уже два месяца меня «учил» народный следователь 1-го района Станишевский...

Он носил френч по моде сегодняшнего дня, а в разговоре щеголял латынью, чего члены губсуда, простые рабочие парни, – один даже был матрос! – оценить не могли. Изречение «Омниа меа мекум порто» – «Всё своё ношу с собой» – они почему-то связывали с портками и глубокомысленно оглядывали диагональные галифе Станишевского.

При старом режиме Станишевский не успел стать ни судьей, ни следователем, а, окончив юридический факультет, был кандидатом на судебную должность, то есть моим коллегой. Но куда мне было до него!

Николай Казимирович Станишевский, представительный двадцатисемилетний блондин, говорил медленно и веско, время от времени закрывая глаза, что придавало его словам особую значительность! И какие это были слова! Выражение «презумпция невиновности» звучало словно самый суровый приговор, хотя означало наоборот – предположение невиновности человека. «Юрисдикция» – это выговаривалось гордо, как «я все могу». А слово «экстерриториальность» гремело железом и медью, как настоящая броня.

Да, хоть и были мы коллегами, но до нарследа-один, как называл себя, словно командарм, Станишевский, мне было как до звезды на небе! Латынь теперь на юридическом не учили, ростом я не вышла. И не то что диагоналевой, просто шерстяной юбки у меня не было.

И все два месяца дальше переписки бумаг Станишевский меня не допускал.

Каждая из них начиналась ссылкой на ту или иную статью Уголовного кодекса. Затем следовали фразы тяжелого веса: «усматривая в оном признаки состава преступления, предусмотренного...», «в вышепоименованных действиях обвиняемого содержатся моменты, могущие, с применением статьи об аналогии, подпасть под действие закона от...».

Даже простое предписание начальнику тюрьмы освободить человека из-под стражи звучало так зловеще, что освобожденный не знал, радоваться ему или пугаться.

Мучаясь над косноязычными постановлениями и протоколами, я мечтала попасть к «настоящему», «теперешнему» следователю. «Теперешнему», партийному и вместе с тем образованному юристу, законнику, но чтобы с «пролетарским правосознанием», как говорилось в судебных приговорах.

Но мои мечты ничего не стоили, потому что был только один следователь, соединявший эти качества: Иона Петрович Шумилов. И никаких практикантов ему не требовалось. Он собственноручно подшивал дела, говоря: «От того, как подшито дело, зависит, как судьи будут его читать; от того, как они будут его читать, зависит приговор». Он сам переписывал постановления, оформлял протоколы допросов и составлял отчетные ведомости на «прибыль-убыль» дел.

Никому не приходило в голову, что практиканты нужны не только для подшивки дел и переписывания бумаг. Никому, кроме Ионы Шумилова.

И я узнала об этом именно в описываемое утро...

Итак, я шла по коридору бывшего подворья и предавалась мрачным мыслям. Вот и наша «камера» – так назывались комнаты, в которых работали следователи. Со вздохом отомкнула я дверь. И в эту минуту услышала цоканье копыт и шуршание дутых шин по булыжнику двора. Это топала копытами моя судьба, но я еще ничего об этом не знала...

В губсуде был только один «выезд». Он состоял из пегой игровой кобылки и ландо, которое, если верить Алпатычу, служило еще губернатору. На этом основании Алпатыч внушал кучеру Пете уважение к «ланду». Но комсомолец Петя пренебрегал кучерским занятием в целом, ландо не мыл и кобылу не чистил. Пользовался выездом исключительно губернский прокурор товарищ Самсонов. Он не замечал замызганного выезда, глубоко погруженный в государственные мысли.

В перерывах между «разведением контры» и уборкой двора – без особого рвения поелозил немного метлой, и хорош! – Алпатыч рассказывал уборщице всякие анекдоты из Библии.

Так как это происходило под моим окном, а я едва не засыпала над своими бумагами, то даже дремучие рассказы Алпатыча меня интересовали.

Была такая история про Самсона, богатыря, у которого вся сила сосредоточилась в волосах. У нашего Самсонова вся сила, наоборот, была в лысине. Он не принимал никакого решения, не потеряв ее энергично обеими руками. Как только окружающие замечали этот жест, все умолкали.

Я Самсонова побаивалась. Мне казалось, что он презирает меня за то, что я не боролась с самодержавием.

Губпрокурор никогда в такую рань в суде не появлялся, и я, с удивлением увидев перед собой его высокую и очень худую фигуру, как всегда, подумала: «Вылитый Дон-Кихот!» Только вместо лат на нем была черная кожаная тужурка, а вместо меча – маузер в деревянной кобуре. Я поздоровалась, но Самсонов, не отвечая мне, замедлил шаг и, как мне показалось, придиричливо оглядел меня с головы до пят каким-то странным взглядом. И тут же взялся за лысину. Я замерла. Своим скрипучим голосом прокурор произнес:

– Таисия Пахомовна, зайдите!

Если бы он назвал меня Далилой, – это была та дама, которая, по Библии, отрезала Самсону волосы, отняв его силу, – я бы так не удивилась. Никто еще никогда не называл меня по имени-отчеству.

Вообще-то все меня звали Лёлькой. Это имя с детства приклеилось ко мне, как тонкая бумажка к леденцу. Дело в том, что Таисией назвала меня бабушка, страшная богомолка, а папа кричал, что это поповское имя, что он его не признаёт и чтобы я звалась Еленой. Поскольку паспортов не было, а в удостоверения вписывали кто что хотел, я всюду именовалась Еленой. Только в анкетах губсуда я значилась Таисией.

Поэтому когда меня так пышно назвал прокурор, я поняла, что разговор будет официальный и важный. Вернее всего, Станишевский на меня пожаловался. У меня были с ним стычки. И он, конечно, запомнил, как я смеялась, когда судья Наливайко назвал его «старым барином на вате»...

Именно в этот момент, на пороге прокурорского кабинета, я с ужасом припомнила ту сцену: как влетел взъерошенный Наливайко в своем неизменном бушлате, из-под которого выглядывала тельняшка, и стал требовать, чтобы Станишевский завел дело о взятке... Как можно было понять из потока гневных слов Наливайко, один заведующий складом принял ценный подарок от знакомого нэпмана. А нэпман не просто сделал подарок, а хотел выдурить у завскладом наряд на кожтовары.

«Тимео данаос эт дона ферентес!» – спокойно произнес по этому поводу Станишевский и тут же перевел: «Не верь данайцам, дары приносящим».

«Судить этих давайцев в первую очередь!» – закричал судья Наливайко.

В дальнейшем разговоре согласия не получилось, Станишевский твердил, что состава преступления, именно взятки, он не усматривает. Наливайко настаивал. Станишевский сказал: «Нонсенс», – что, как я уже знала, означает «глупость». Наливайко принял это слово за особо обидное ругательство, сам выругался по-настоящему и еще назвал Станишевского старым барином на вате.

Тут-то я и захохотала...

Вспомнив все это, я приготовилась к худшему и вошла в кабинет Самсонова.

Я подождала, пока он сядет, и села тоже.

Он все еще держался за лысину и смотрел на меня так, словно искал и не находил во мне чего-то совершенно необходимого.

Наконец он начал:

– Конечно, народный следователь, а тем более судья должен бы, помимо всех прочих качеств, иметь солидный вид...

Он сделал маленькую паузу, и я ворвалась в нее, ужасно злая, потому что он попал в самое мое больное место.

– Держите тогда царских чиновников! – закричала я. – У них солидный вид! У них борода на две стороны! И диагональные брюки! Они по-латыни умеют!

Я совершенно забылась. Моя несдержанность, от которой в моей короткой жизни я уже имела неисчислимые беды, толкала меня под бок: «Давай, давай, хватит на тебе воду возить!»

– Теперь я вижу, – сказал холодно губернский прокурор, – что вы слишком молоды для самостоятельной работы.

– Наша власть тоже молодая! – возразила я. – И законы молодые. И правосознание. Как бы я ни была молода, я совершеннолетняя! И могу занимать любую должность в государстве.

«Все равно уж!» – промелькнуло у меня в голове, и я добавила вызывающе:

– Я к вам не просилась. Меня к вам комсомол бросил.

Самсонов хотел опять взяться за лысину, но на полпути опустил руку и улыбнулся. Я никогда не видела улыбки на его лице. Это было непривычно и даже трогательно. Как будто в мрачный подвал забрел солнечный луч и сам не знает, что ему тут делать.

Улыбка тотчас запуталась в сетке морщин, заглохла в щетине впалых щек, словно вода, ушедшая в песок. Но она была.

Он сказал негромко:

– Мало того, что вы дерзки, вы еще и невнимательны. Я сказал: «...должен бы иметь солидный вид». «Бы»... Но если нет вида, ничего не поделаешь. Авторитет суда держится не на внешнем виде его работников.

Я молчала.

– Через год, – продолжал прокурор, – вы должны получить самостоятельный участок работы. За этот год вы обязаны набраться опыта.

«Черта с два его наберешься», – подумала я.

– Так вот, – сказал Самсонов, – я принял решение: вы пройдете практику у народного следователя первого района Шумилова. Вы свободны.

Он встал. Я встала тоже.

– До свидания, товарищ Самсонов.

– До свидания, товарищ Смолокурова.

В коридоре я с размаху налетела на Лёшу Гуревича, секретаря коллегии защитников. Лёша имел удивительное свойство: первым узнавать все новости.

– Тебя к Шумилу! С тебя причитается!

Я схватила его за рукав:

– В чем дело? Шумилов же старший следователь!

Лёша свистнул:

– Уже нет. Со вчерашнего дня. Сам попросился в районные. Ближе к жизни преступного мира...

– А Станишевский?

– Что Станишевский? Уходит в институт, преподавать.

– Но Шумилов ведь против практикантов...

– Уже нет. Просил кого-нибудь побойчее.

Лёша побежал дальше, а я осталась стоять озадаченная. Побойчее я или нет?

События развивались благоприятно, если не считать одного: Шумилов просит дать ему практиканта. Но не меня же... А вдруг выставит меня вон?

Иону Петровича Шумилова я видела всегда издали, он мне казался совсем молодым. Фигура у него была легкая, движения быстрые, что при небольшом росте создавало впечатление какого-то мальчишества.

Но теперь, когда он сидел напротив меня и нас разделял только стол, я увидела у него на лбу морщины и даже тоненькую седую прядь в волосах, которые он носил гладко зачесанными назад. Его узкое лицо с длинноватым носом казалось бы незначительным, если бы не глаза. В серых глазах, близко, по-птичьи, посаженных, проглядывала усталость. Но, несмотря на это, в них была пристальность, какой-то лучик словно обшаривал быстро и нервно темные углы. Впрочем, может быть, это мне показалось.

Шумилов не носил ни френча с галифе, как это было принято у «ответработников», ни кожаной куртки. На нем был вполне старорежимный костюм: пиджак с жилетом. И хотя галстука он не носил, – еще чего не хватало! – казалось, что галстук был бы тут уместен.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы мой начальник и учитель был похож на Шерлока Холмса. Но этого не было. Шумилов не сосал трубку, не кривил губы в иронической усмешке и не ошарашивал собеседника неожиданными вопросами. Голос у него был тихий и тоже какой-то незначительный.

Нет, он не был Шерлоком Холмсом. Но зато он был Ионой Шумиловым. В моих глазах это значило много больше. Кто такой Шерлок Холмс? Способный детектив, служащий в конечном счете капитализму. А Иона Шумилов – блестящий советский следователь, стоит на страже завоеваний революции, охраняет жизнь и покой граждан Страны Советов.

И вот теперь по крайней мере год я буду вместе с ним каждый день. Конечно, я не стану переписывать скучные бумаги. Кто станет их переписывать, меня мало заботило. Я буду выезжать на места кошмарных преступлений, распутывать нити сложных дел, высказывать гениальные догадки, поражающие самого Шумилова, и в итоге сражать преступников системой полновесных улик.

Мои мечты прервал будничным голос моего начальника:

– Мы примем часть района у нарследа восьмого участка, значит, и часть его дел.

Что же, это мне нравилось. Я не боялась работы. Лишь бы не побоялись мне ее доверить.

– Нам нужен расторопный секретарь.

Интересно, кого возьмет в секретари Шумилов? Иона Петрович, конечно, выберет лучшего из секретарей.

Наша – наша! – камера помещалась в здании губсуда, наш район был самым оживленным и теперь будет самым крупным. Мы – мы! – могли сманить любого секретаря. Но кого надо сманивать?

– Мотю Бойко, – вдруг сказал Шумилов.

– Мотю Бойко?

Я едва удержалась, чтобы не рассмеяться. Не было в суде большего плута, чем Мотя Бойко. Пользуясь тем, что его начальник – следователь 8-го района, старый большевик Ткачев, получивший чахотку в якутской ссылке, – часто отсутствовал, Мотя вершил все дела лично.

Но так как я приняла твердое решение быть выдержанной и не соваться со своим мнением, я промолчала.

Шумилов словно отгадал мои мысли и сказал:

– Мотя Бойко будет у нас вполне на месте. Мы с вами будем его направлять.

Я оценила это «мы с вами» и поспешила согласиться.

– Давайте пойдем в камеру нарследа-восемь и посмотрим, как там произрастает Мотя Бойко.

Мы отправились.

Дорога шла мимо бывшего женского монастыря. У ворот сидели на лавочках бывшие монашенки, ныне члены артели «Ручвяз». Это неблагозвучное название было стыдливо написано от руки на небольшом листе бумаги, наклеенном на заборе. Кроме того, там еще стояло в скобках: «На спицах и других инструментах».

– Интересно, что это за «другие инструменты»? – заметил мой начальник.

Я объяснила, что имеется в виду крючок для ручного вязания. Все, что касается монашенок, было мне прекрасно известно. Когда я училась в младших группах, – классов уже не было, – папа меня определил на квартиру в монастырь, чтобы я «не баловалась».

В настоящий момент монашенки «ручвязом» не занимались, а лузгали семечки и лениво переругивались.

Невдалеке, на паперти древней маленькой церкви, сидели слепцы и, яростно накручивая ручку «цитры», деревянного ящика со струнами, дружно ныли на невероятной смеси украинского с русским:

*Мимо рая прохожу,  
Гирко плачу и тужу...*

Дальше – больше, со слезою в голосе:

*Дней воскресных я не читил,  
Во грехах дни проводил...  
Батяка с матерью хулил,  
Ой, лихо меня, лихо!  
Великое лихо.*

Душераздирающее мяуканье цитры как нельзя больше подходило к мрачному тексту. Тут же, без перехода, звучно высморкавшись на паперть, слепцы весело заводили:

*А у кума е бджо...  
А у кума е бджо...  
Бджо-о-олы!  
Дай мне, кум, мё-мё...  
Дай мне, кум, мё-мё...  
Мё-ё-ду!*

Закончив, они затягивали гнусаво:

– Подайтэ, нэ минайтэ...

– А як ни, то ни минэ вас лиха година... – добавляли они скороговоркой.

Мы шли браво, но мне страшно хотелось есть. Может, оттого, что нам все время попадались паштетные. В них сидели нэпманы. Многие из них были толстые, какими их рисовали в газетах.

Иные, наоборот, поражали худобой. На их тощих фигурах болтались пиджаки и визитки лучших времен. «Вот до чего довела нас Советская власть!» – как бы говорили они.

В большие зеркальные окна было видно, как нэпманы жрут мясо. И надо думать, это была не конина.

– Как мы думаете, это не конина?

– Где? – спросил Иона Петрович, будто с неба свалился.

– Ну, там, в паштетной...

– А... Не знаю. Меня это не интересует, – ответил Шумилов ледяным голосом, словно не он доедал со мной сегодня утром последнюю воблу из пайка.

– Трудно жить одними интеллектуальными интересами, Иона Петрович, – сказала я.

– Да? – Шумилов презрительно прищурился. – Кто же тогда поэт? Я поэт или вы поэт? Он меня сразил. Я замолчала и больше не смотрела в окна.

Я действительно сочиняла стихи. Чаще всего на ходу. У меня не было времени сидеть и писать за столом, как это делали поэты «ушедшей эпохи». Собственно, не было и стола.

Камера следователя 8-го района помещалась в бывшем «доходном доме» баронессы Ган.

Мотя Бойко сидел за огромным письменным столом с фигурными ножками и с резными львиными мордами на ящиках. На Моте была вельветовая толстовка с голубым бантом под

подбородком. Усы у него еще не росли, но на подбородке вился какой-то дымчатый пушок. Видно было, что Мотя его всячески холит.

Когда мы вошли, Мотя крутил ручку телефона и кричал в трубку:

– Уголовный розыск? Говорит нарслед-восемь. Что там такое в доме тридцать по Нетеченской? Женщина в сундуке? Не трогайте до моего приезда! Кого? Ни женщину, ни сундук не трогайте! Что, она живая? Так пусть вылезет из сундука. Уже вылезла? Так в чем же дело? Попытка удушения? Ведите дознание.

Мотя повесил трубку и будто только сейчас заметил нас.

Иона Петрович, стоя посреди комнаты в своем франтоватом сером костюме, с портфелем под мышкой, тихо проговорил:

– Я народный следователь первого района Шумилов. Это мой помощник Таисия Смолюкова.

В эту минуту я с восторгом поняла, что возврата к «Лёльке» никогда не будет!

Мотя посмотрел на меня с глубочайшим презрением и с готовностью пододвинул Шумилову стул.

– Чем могу служить? – спросил он. Эта форма обращения мне понравилась. Я догадалась, что Мотя научился ей у старика Ткачева.

Шумилов подал мне стул, уселся сам и, к моему удивлению, даже не заикнулся о своем намерении взять Мотю к себе.

– По постановлению пленума губсуда, к моему району отходит участок от Пречбаза до Проточной, – начал он и оглянулся. На стенах карты района не было, но Мотя в одно мгновение извлек ее из ящика стола, и Шумилов отметил улицы, отходящие в наш район.

– Чудесно, – сказал Мотя. – Я, – он сказал «я»! – просто задыхаюсь от дел. И знаете, большинство преступлений совершено именно на этих...

– Отходящих к нам улицах? – вежливо осведомился Шумилов.

– Определенно, – не моргнув глазом, подтвердил Мотя.

– Бывает, – сказал Шумилов.

– Бывает, – нахально повторил Мотя и предложил приступить к делу.

Мы усадились за львиный стол. Мотя стал с треском распаивать дверцы канцелярских шкафов и быстренько накидал высокие кипы дел. Столб пыли поднялся кверху. Очевидно, Мотя не ставил себе целью разгрузить камеру за время болезни своего начальника.

– Значит, давайте так. Направо положим дела, которые отойдут к вам. Налево те, которые останутся у нас.

– Давайте, – согласился Шумилов. Опять он ничего не сказал о предполагаемом Мотином переходе к нему. И я уже решила, что Шумилов передумал. В самом деле: у Моти с этим его бантом был просто вызывающий вид...

– Поехали! – объявил Мотя и взял дело, лежащее сверху.

– Труп неизвестной женщины. Обнаружен в Банном переулке. Ваше.

Шумилов кивком головы показал, что согласен.

– Кража со взломом в доме номер семь на Буровой... Ваше.

– Дом угловой, вход с площади Революции, – напомнил Шумилов.

– Верно, но... – черные Мотины глазки вдохновенно блеснули, – но окно, через которое влезли воры, выходит на Буровую. Ваше. Далее. Убийство буфетчика с целью грабежа... Убийство совершено в трактире «Каменный столб» – Вокзальная площадь. Площадь конечно, наша. Но... трактир входит в систему Ресторантреста, а Ресторантрест на Рыбной улице... Ваше!

Шумилов опять согласился. Я не могла его понять. «Вот шляпа!» – ясно читалось в Мотиных глазах. А Мотю несло дальше, и наша куча дел уже выросла чуть не до потолка. А нарследу-восемь осталось несколько тощих папок, которые уже ни под каким предлогом нельзя было «сбагрить» легковверному коллеге.

– Ну всё! – довольно закончил Мотя. – Как вы увезете дела?

Шумилов помял в пальцах папиросу и ответил тихо:

– Мы их не возьмем. Вы их сами принесете.

Он выдержал паузу и объяснил:

– Вы будете у меня секретарем.

Мотя просветлел:

– В первый район? Камера при губсуде? Чего же вы сразу не сказали, товарищ Шумилов? – он, как тигр, бросился на кучу «наших» дел и стал с не меньшей уверенностью, чем делал это только что, перебрасывать папки обратно. – Труп неизвестного найден на Нетеченской, головой обращен на Кузнецкую... Оставляем здесь. Ограбление прохожего как раз посередине сквера... Здесь!

Таким манером он довел кучу наших дел до минимума и решительно объявил:

– Эти несколько папок я просто забираю с собой.

Мы вышли. Мотя опечатал камеру сургучной печатью и, сунув папки под мышку, с видом крайнего удовольствия заявил:

– Вот я здесь, со всеми потрохами! Вперед! И пусть мне будет хуже!

Камера наша состояла из двух маленьких комнат. В одной был кабинет Шумилова. Мы с Мотей внесли туда старое буржуйское кресло, плюшевое, с бахромой, казавшееся нам роскошным. Поставили на стол пепельницу из розовой раковины. Над столом мы повесили портрет Григория Ивановича Петровского, председателя ВУЦИКа.

Таким образом, кабинет был оборудован с должным великолепием.

Кроме того, мы сделали начальнику подарок. В кладовой «вещественных доказательств» валялся старый плюшевый альбом. В нем было полно фотографий каких-то чиновных стариков в сюртуках с воротниками выше ушей, дам, укутанных в меха, и младенцев – эти, наоборот, лежали голячком, задрав ноги.

Мы вытащили всю эту дребедень и вставили в альбом фотографии знаменитых преступников, значащихся в республиканском розыске. Нам казалось, что это удачная выдумка. Но Шумилову прежде всего бросились в глаза плакаты на стене:

– «Не курить»? Почему не курить? Я сам курящий...

– Вы – другое дело, – сказал Мотя, – но посетители...

Иона Петрович прервал его:

– Посетители тем более должны курить. А обвиняемые – наверняка.

Мы промолчали. Это не приходило нам в голову.

Наш начальник продолжал:

– А здесь что? «Кончив дело, уходи»? Ну, знаете, в камере следователя это неуместно.

Кресло Шумилов приказал убрать.

– Мне эта гадость в родительском доме опротивела, – сказал он, к великому нашему удивлению. Мы считали, что на таких креслах сидели только царские министры.

Плюшевый альбом с фотографиями рецидивистов тоже восторга не вызвал.

– А где его прежняя начинка? Может быть, этот альбом вернуть владельцу? Может быть, он кому-то дорог? – спросил наш щепетильный начальник.

Мы горестно молчали.

Ловкач Мотя оставил на нашу долю малую горсточку дел, но Шумилов велел подобрать их строго по району. Он «принял дела к своему производству», как это называлось на юридическом языке, и у нас сразу оказалось работы по горло.

Одно из дел называлось «О загадочном убийстве в гостинице "Шато"». Я подумала, что Шумилов схватится за него первым делом из-за слова «загадочное». Но он сказал назидательно:

– Еще можно немного потерпеть, когда по городу ходит вор или хулиган, но нельзя терять ни минуты, когда по земле крадется убийца.

По приказанию Шумилова я изучила от корки до корки дело об убийстве в гостинице «Шато». «От корки и до корки» – в буквальном смысле слова, потому что корками назывались две стороны обложки дела.

Лучшие гостиницы в городе именовались по-новому: «Красная» и «Советская». То ли дальше уже не хватило фантазии, то ли другие заботы одолели «отцов города», но остальные гостиницы сохранили старые названия, почему-то все больше французские. Вероятно, для шика. Был у нас «Гранд-отель» и даже «Монбижу».

Гордое имя «Шато», то есть замок, носило замызанное заведение на глухой улице Малая Тряская. Это выразительное название сохранилось, видимо, от тех, не таких уж далеких, времен, когда на немощной улице тряслись по ухабам возки. Но и сейчас, хотя мостовая оделась булыжником, а тротуары даже асфальтом, окраинная Тряская с ее подслеповатыми домишками и чахлыми акациями в палисадниках имела жалкий вид. Гостиница «Шато» тоже не блистала. Штукатурка на стенах облупилась, зачохли кусты под окнами, и вместо швейцара сидела у двери мрачного вида тетка с ключами у пояса.

Но какая бы она ни была, гостиница делала свое дело. И здесь находили приют командированные разнообразными советскими органами спецы, ревизоры из центра и ходатаи с мест – разнохарактерный люд, вносивший сюда дух беспокойного времени.

Пять дней назад в номере девять на втором этаже был обнаружен без признаков жизни двадцатитрехлетний учитель Дмитрий Салаев из уездного города Липска.

Дмитрий Салаев умер от огнестрельной раны. И оружие, браунинг номер два, валялось тут же.

На столе лежала незаконченная записка:

«Дорогая, родная Люся! Мы никогда больше не увидимся. Я ухожу из жизни, ухожу сам, добровольно. Еще вчера я не был уверен, что смогу это сделать, сегодня я готов... Благодарен тебе...»

Тут текст обрывался.

В корзинке под столом никаких бумаг не было.

В конторе гостиницы был обнаружен и приобщен к делу «бланк для приезжих», заполненный Салаевым в присутствии дежурного по гостинице.

Даже на первый взгляд было видно, что записка и бланк написаны одной и той же рукой.

Следовательно? Следовательно, дело было ясно. Как тогда говорили, «ясно, как апельсин»: Дмитрий Салаев, учитель, двадцати трех лет, член профсоюза, холостой, свёл счёты с жизнью по неизвестной причине.

Я прочла протоколы допросов служащих гостиницы. Они не могли внести ничего нового в дело. Да и что же еще тут требовалось? Ничего! Почему же возникла мысль об убийстве? Поставив такой вопрос, я вернулась к обложке «дела». И теперь увидела то, что не заметила сразу. На обложке стояло название дела: «О загадочном убийстве в гостинице "Шато"». Слово «загадочном» было вписано другим почерком. Кроме того, перед словом «убийстве» что-то было зачеркнуто. Я осторожно поскоблила лезвием от бритвы. Обнаружилось ранее написанное: «само...».

Первоначальная надпись на обложке была сделана рукой Ткачёва. Следовательно, Ткачёв считал Салаева самоубийцей. И, по моему разумению, правильно считал. Но Шумилов? Шумилов подозревал здесь убийство. И он зачеркнул «само» и вписал слово «загадочном». На каком основании?

Я принялась читать дело снова.

И, перечитав внимательно каждый лист, поняла, что возбудило у Шумилова сомнение. Это был документ института судебной медицины: протокол вскрытия трупa. В очень осторож-

ных словах, со многими оговорками, из протокола выводилось заключение, что выстрел мог быть произведен не в упор. Не в упор, а на каком-то расстоянии...

Было еще одно: на оружии не имелось отпечатков пальцев. Ни убитого, ни кого-либо другого. В момент выстрела браунинг был чем-то обёрнут.

Однако эти косвенные улики могли быть легко опровергнуты, а заключение института, сделанное в уклончивой форме, не имело веса.

Но если это убийство, то кто убийца и каковы его мотивы?

При умершем не было документов. В конторе лежало сданное им удостоверение личности, а также свидетельство о рождении и крещении, выданное священником Сергиевской церкви в городе Липске. Почему эти бумаги были сданы в контору? Директор гостиницы объяснил, что у них такой порядок: все личные документы, если жилец желает, сдаются в контору на хранение. Командировочных документов не имелось. Значит, учитель Салаев прибыл в губернский город по личным делам? Каким?

И первое, что я считала нужным предпринять, было обращение в губернский отдел народного образования, где я надеялась найти подробные данные о Салаеве.

Да, в губоно в личном деле Салаева лежала анкета, по тем временам очень коротенькая. При анкете имелась фотокарточка, изображавшая молодого человека, черты которого трудно было угадать в лице самоубийцы на снимке, сделанном при осмотре трупа.

Из анкеты я узнала, что Дмитрий Салаев, двадцати лет, комсомолец, сын рабочего, родился в Липске, окончил школу второй ступени и учительские курсы, преподает русский язык в школе в уездном городе Липске.

Что это могло мне дать? Ничего. Я изъяла личное дело Салаева и приобщила к следствию. Просто для порядка.

Старик Ткачев приказал до заключения медицинских экспертов опечатать номер Салаева в гостинице, оставив все так, как оно было обнаружено в первый момент. Поэтому второе, что я наметила, было: распечатать номер девять и повторно осмотреть место преступления. Если здесь имело место преступление... Шумилов согласился со мной. Мы отправились в «Шато».

В гостинице царила обычная суэта. О печальном происшествии напоминала только четкая сургучная печать на картонке, болтавшейся на двери.

Войдя в кабинет директора, как громко именовался закуток за стеклянной перегородкой, мой начальник, конечно, произнес свое вечное: «Я – народный следователь Шумилов, это моя помощница Таисия Смолокурова». И тотчас сам директор и тут же сидевший бухгалтер вызвались нас сопровождать.

И вот в первый раз, если не считать студенческой практики, – но какое может быть сравнение? – я переступаю порог комнаты, где, возможно, было совершено преступление.

Сначала – «охватить всю картину». Я уже знала, как это важно на «месте происшествия». Потом переходить к деталям, чтобы снова, обогатившись множеством наблюдений, вернуться к общему...

Мы вошли, и я подумала, что самый воздух этой комнаты должен подействовать на моего начальника. Мне хотелось, чтобы у Шумилова засверкали глаза, чтобы движения его стали быстрыми и решительными, а в голосе зазвучали металлические нотки... Но этого не произошло.

С обычным своим будничным видом он обошел комнату вдоль стен. Потом осмотрел смятую постель со следами уже почерневшей крови, навел лупу на забрызганный кровью ковер, на тумбочку, на которой стояла настольная лампа с биркой гостиницы.

– Вероятно, здесь лежали часы убитого... – не то спрашивая, не то утверждая, проговорил Шумилов.

Директор вспомнил, что видел у Салаева большие серебряные часы. Как-то вечером Салаев вышел из номера, и они вместе покурили в коридоре. Салаев вынул из кармана часы.

Они были именные, с гравировкой: И. Салаеву, казначею какого-то полка, от его сослуживцев. Это хорошо запомнилось потому, что часы были, как выразился директор, «интересные», старинные.

Шумилов поблагодарил кивком и бегло взглянул на меня. Я поняла значение этого взгляда: в анкете Дмитрия Салаева в губоно было указано, что отец его – рабочий. Дмитрий Салаев скрыл службу отца в царской армии. Что же побудило его открыться малознакомому человеку по пустячному поводу?

Затем Шумилов, медленно и методически продолжая осмотр, выдвинул ящик тумбочки. Часов и тут не было, но имелся бумажник. Он был пуст.

Бухгалтер сообщил, что видел бумажник у Салаева. За два дня до своей смерти он платил за номер и вынимал деньги из этого бумажника. Бухгалтер заметил, что он был набит денежными купюрами.

– А сколько он заплатил? – спросил Шумилов.

Бухгалтер назвал сумму.

– Почему так много? – удивился Шумилов.

– За пять дней вперед.

Шумилов улыбнулся:

– Аккуратный самоубийца, он платит вперед и припрятывает именные часы.

Директор самолюбиво заметил:

– Если вы подозреваете, что часы были похищены... напоминаю вам: дверь открыли представители милиции.

– Нет, я ничего не подозреваю. И вряд ли вор взял бы столь приметные часы, да еще именные.

– Значит, вы полагаете...

– Я еще ничего не полагаю, тем более что вернее всего мы сейчас обнаружим часы в кармане пиджака.

Шумилов осторожно снял со спинки стула пиджак, хотел, видимо, обследовать его карманы, но не сделал этого...

Один карман был целиком вывернут наизнанку, другой – наполовину. Даже верхний наружный карман носил следы поспешных поисков. И сейчас все заметили, что брошенный на диванчик портфель раскрыт, а содержимое его, разные мелочи, валяется тут же.

Все молчали, пораженные этим новым обстоятельством. Директор робко предположил:

– Может быть, он в волнении забыл, куда положил пистолет, из которого потом застрелился...

Шумилов возразил:

– Он искал в верхнем кармане, где пистолет поместиться не может. Он искал что-то маленькое, во всяком случае, меньшее, много меньшее, чем браунинг номер два, – и добавил. – Поскольку мы не знаем, нашел ли он то, что искал, мы тоже поищем.

Шумилов перешел к маленькому письменному столу, на котором все еще лежала смятая и затем тщательно расправленная записка: «Дорогая, родная Люся...»

Иона Петрович пригнулся к самой столешнице, быстро взял что-то... В его руке было пресс-папье, обыкновенное деревянное пресс-папье с черной полированной шишечкой.

Шумилов отвинтил шишечку и осторожно снял промокательную бумагу с деревянного основания. На розовой бумаге ясно были видны оттиски наклоненных в левую сторону строк.

Шумилов сказал тихо:

– Оттиски совсем свежие. По логике вещей мы сейчас должны прочесть текст последнего письма, вот этого, что лежит перед нами. Если оно действительно последнее... – добавил он еще тише.

Никто из нас не уловил значения этих слов.

Шумилов подошел к зеркалу, висевшему в простенке, и поднял лист промокательной бумаги так, чтобы написанное отразилось в зеркале.

Все увидели, что руки у Шумилова слегка дрожат.

– Попрошу всех подойти сюда и прочесть текст в зеркале, – предложил Шумилов.

Мы приблизились. В зеркале лиловые неразборчивые строки читались почти без пропусков...

И это не был текст того письма, которое лежало на столе!

Мы прочли:

«Люся, родная, прости, если можешь. Я ухожу из жизни. Я решил открыть всё... Завтра я это сделаю. Благодарю тебя за всё. Прощай!»

Подписи не было.

– Где же это письмо? – вырвалось одновременно у меня и директора.

– Унесено убийцей, – ответил Шумилов и, положив промокательную бумагу между двумя чистыми листами, спрятал ее в портфель.

Все изменилось с этого момента. Осмотр комнаты продолжался. Но теперь Шумилов действовал очень быстро и энергично: прощупал сиденья мягких кресел, вытащил ящик стола, и мы помогли ему свернуть потертый ковер.

В бахrome его запутался комочек газетной бумаги, который Шумилов проворно схватил и поднес к свету. Мне показалось, что это пуговица, аккуратно завернутая в клочок газеты. Однако когда Шумилов развернул его, в нем оказалась не пуговица, а черная кнопка с белой цифрой 4.

– От пишущей машинки! – констатировал директор.

Шумилов ничего не ответил, но даже мне было ясно, что кнопка скорее всего от какой-нибудь счетной машины, так как в пишущей под каждой цифрой всегда имеется еще знак: под цифрой 4 обычно кавычки. Неужели эту кнопку так настойчиво искал убитый? Или – убийцы?

– А где же все-таки часы и деньги? – спросил директор, которому не давала покоя «честь мундира».

– Надо думать, в руках убийц, – сказал Шумилов.

– Значит, мы имеем тут просто-напросто ограбление? – с оттенком разочарования спросил директор.

– Или инсценировку ограбления на случай, если не пройдет вариант самоубийства, – ответил Иона Петрович.

## 2

Мы с Шумиловым выехали в Липск.

Перед отъездом Иона Петрович предпринял нечто, на мой взгляд, необъяснимое: он послал на экспертизу два документа – анкету Салаева, заполненную в губоно, и бланк для приезжих.

Разве были сомнения в том, что и тот и другой документы были написаны умершим? Некоторое несходство в почерке могло быть объяснено разницей во времени: анкета заполнялась два года назад.

Стоял мягкий погожий день, какие часто выдаются в наших краях в конце сентября.

Мы ехали местным поездом, который возил рабочих железной дороги и жителей, посещающих богатый нэпмановский базар в нашем городе.

Были тут и спекулянты-мешочники высокого класса, которых можно было узнать по неверному блеску в глазах и добротным чемоданам «старого времени».

Обычные дорожные разговоры плелись вокруг цен на продукты, разных мелких происшествий и семейных дел.

Шумилов, покуривая вместе с мужчинами, поддерживал эту незатаившую беседу, с поражающей меня легкостью раздувая ее, как только накал ослабевал.

Я ломала себе голову, зачем это ему надо, пока не услышала, что среди людей, окруживших моего начальника, обнаружили двое из Липска: пожилой, угрюмого вида человек с бородой, которого звали Пал Палычем, и бойкий юноша в полосатой футболке, Сережа Панков, работник укома комсомола. Поддавшись общему настроению, даже молчаливый Пал Палыч в конце концов разговорился. Оказалось, что он служит сторожем на кладбище. Длинно и нудно он сетовал на оскудение кладбищенского хозяйства.

– А вы по какому случаю в Липск? – спросил моего шефа сторож и тут же предположил. – Верно, по финансовой части? Ревизию наводить?

– Верно, – подтвердил Шумилов. – А это моя помощница.

Теперь мы были равноправными членами вагонного коллектива. Мы вместе закусывали, усердно обивая о лавку соль с воблы, и делили колбасу, темную и вязкую, как глина.

Шумилов захватил с собой свежую газету. В отделе происшествий была напечатана заметка «Самоубийство в гостинице» о том, что на днях в «Шато» застрелился учитель Дмитрий Салаев. Текст заметки в свое время санкционировал Ткачëв.

Мне показалось, что Шумилов умышленно положил газету так, чтобы заметка эта бросилась в глаза соседям по вагону. Сережа Панков действительно тотчас ее заметил и огорченно воскликнул:

– Это же наш! Учитель Салаев! Я его знал. С чего бы это он?

– Бывает, – отозвался Шумилов без интереса.

Но юноша не мог успокоиться: как же! Салаева знает весь Липск, самый любимый учитель...

Наступил вечер. Проводник зажег свечи в проволочных клетках фонарей над дверями. Разговор завязался уже совсем душевный, а угрюмый кладбищенский сторож рассказал свою грустную историю: сына его расстреляли беляки, жена умерла с горя...

Утром мы расстались на платформе у порушенного во время Гражданской войны вокзального здания. По совету попутчиков мы отправились в Дом крестьянина, который, по их дружным уверениям, был почище и поприличнее городской гостиницы.

И в самом деле: небольшой бревенчатый дом снаружи и внутри сиял чистотой, и молодая в белом переднике тотчас вздула нам самовар, предупредив, что чай для заварки имеется только морковный, а сахару, если мы пайком не запаслись, и вовсе не будет. Мы сказали, что запаслись и готовы угостить ее.

К чаепитию пригласили нас в сад под липу, и мы только расположились здесь, как в аллейке перед строем подсолнухов показался наш попутчик Сережа Панков.

Было видно, что он еще не успел побывать дома: дорожная пыль лежала на его лице, а в руках все еще был маленький баул, с которым он совершал свое путешествие.

– Товарищ! Извините! – в крайнем замешательстве обратился он к Шумилову. – Позвольте мне взглянуть на газету, которую я давеча смотрел... У нас ее еще не доставили.

Шумилов молча вынул из портфеля газету.

– Вот! – в совершенном неистовстве закричал Сережа, ткнув пальцем в «Происшествия». – А я уже думал, мне померещилось! Вот! «Застрелился учитель Дмитрий Салаев...» Да? Да? А я его только что встретил. На улице!

Шумилов взглянул на меня. Взгляд этот говорил: «Мы имели убитого, но не имели убийцы. Теперь мы не имеем и убитого».

Шумилов потушил недокуренную папиросу и сказал обычным своим тоном:

– Бывает, Сережа. Бывает.

В школе, видимо, только что кончились занятия. Салаев повстречался нам уже на улице. Мы узнали его по описанию Сережи Панкова. Молодой учитель расстался со своими спутни-

ками на перекрестке и пошел дальше упругой спортивной походкой, а я, глядя на него, испытывала какое-то странное чувство: совсем недавно, вот только что, мы считали, мы были уверены, что этот человек мертв...

Ах, такие эмоции, вероятно, совсем не подобали следователю!

Учитель пошел бульваром, и здесь мы догнали его. По дорожкам бегали дети, гоняя самодельные обручи из ободьев бочки, пищали в кустах птицы, пахло травой, нагретой солнцем. И совсем неуместны здесь были только мы со своими заботами: убийство, розыск, следствие...

Шумилов остановил учителя и произнес свое обычное: «Я – народный следователь... моя помощница...»

Салаев удивился, пожалуй, даже растерялся.

– Никогда не имел дела с такими должностными лицами, – пробормотал он.

– Где бы мы могли поговорить с вами? – спросил Иона Петрович.

– У меня, если хотите. Только у нас народу в квартире много.

– Не подойдет. Может быть, есть тут у вас какая-нибудь столовая?

– За углом пивная... – нерешительно предложил учитель.

– Чудесно!

Мы двинулись.

За углом действительно останавливала внимание прохожего небесно-голубого цвета вывеска, гласившая: «Свидание друзей». Под этой надписью была другая, разъясняющая: «Пивное зало».

Шумилов рассмеялся и переступил порог. «Свидание друзей» проходило бурно. Кругом стоял такой шум, что мы едва слышали друг друга. К тому же на окне в клетках пронзительным милицейским свистом закатывались канарейки. Про себя я назвала это место «таверной» и, приглядываясь к окружающим, искала на них следы бурной и – я надеялась! – преступной жизни. Но народ здесь был самый будничный.

Шумилов чувствовал себя как дома.

Учитель, наоборот, стесненно поглядывал вокруг. Нам подали пива и закуску: соленые сушки, соленый горох и, конечно, воблу.

Шумилов приступил к делу. В результате короткого разговора выяснилось, что анкета, имеющаяся в губоно, действительно заполнена им, Салаевым. Он действительно родился в Липске. Но метрики у него нет, и ему никогда не приходило в голову получать ее. «Я комсомолец, дел с попами иметь не желаю. Да и зачем мне метрика?» – сказал учитель.

Его отец, Иван Салаев, действительно был рабочим и недавно умер. На солдатской службе он не был. А вот брат отца, дядя Дмитрия, служил. И дослужился до каких-то чинов, поскольку был с образованием: учился на деньги купца-филантропа.

– А какова дальнейшая судьба вашего дяди? – спросил Шумилов.

Учитель слегка смешался:

– А дальнейшая судьба его такая: служил в белой армии, с беляками отступал в Крым. А что дальше, не знаю. Кажется, за границу попал. Это я от отца слышал. Сам я дядьку этого, и в глаза не видел.

– А как зовут вашего дядю?

– Ильёй.

– Тоже, значит, «и»... – задумчиво проронил Шумилов.

Учитель посмотрел удивленно. Он мне определенно нравился. В нем было что-то безоговорочно вызывающее доверие и симпатию. Можно было поверить Сереже Панкову, что Салаева любили ученики. Он нисколько не походил на тех противных «шкрабов», с которыми мы вели «непримиримую борьбу».

– А теперь, Дмитрий Иванович, подумайте, что бы это могло значить? – и Шумилов выложил на стол перед молодым человеком газету с заметкой о самоубийстве учителя Дмитрия Салаева, метрическое его свидетельство и удостоверение личности.

Учитель оторопел. Никогда он не получал этого свидетельства. В губернском городе бывал редко, в командировках – никогда. Что касается удостоверения, то оно – «чистая липа».

Учитель вынул свое удостоверение: документ покойного был мастерски подделан. И надо думать, настоящее свидетельство о рождении было призвано его подкреплять, подстраховывать.

Вторую половину дня мы провели в загсе, где Шумилов рассчитывал найти метрическую запись о рождении Салаева. Как мне объяснил мой начальник, до революции священник сельской или городской церкви записывал данные о рождении и крещении в метрическую книгу «на вечные времена». А при надобности выдавал выписку из нее, служившую свидетельством о рождении. Теперь церковь такого права не имеет. Регистрация рождений происходит только в загсах, и старые метрические книги должны храниться там же.

Нас ждало разочарование. Старых метрических книг Сергиевской церкви в загсе не оказалось. Где они – об этом никто не имел понятия.

– Может быть, сгорели вместе со старой деревянной церквушкой, – предположила молоденькая заведующая. Видно было, что наш интерес к церковным книгам она воспринимает как нечто в высшей степени предосудительное и мы от нее больше ничего не добьемся.

Когда мы вышли из загса, наступил уже вечер. Погода испортилась. Дул северный ветер. Время от времени срывался косой, холодный дождь. Подняв воротники плащей, мы с Шумиловым брели по тротуару, стараясь укрыться под листвой, обильно свисающей из-за оград.

Шумилов спросил у прохожего дорогу на городское кладбище. К чему бы это? Мой начальник сосредоточенно молчал, крупно шагая навстречу ветру. Дождь не шел больше, но ветер был полон влаги, его дуновения походили на мокрые шлепки по лицу, а земля под ногами хлопала, словно мы брели по болоту.

В действительности это была немощёная дорога, уже выведшая нас из города. Мы шли в темноте под сине-черным волнующимся небом. Никакого кладбища и в помине не было.

– Вы уверены, что мы идем правильно? – спросила я.

Шумилов ответил, как мне показалось, раздраженно:

– Для этого не надо быть Шерлоком Холмсом: кладбище всегда располагается на доминирующей высоте, а направление указал нам прохожий.

Я промолчала, и мы продолжали путь.

Вдруг Шумилов спросил:

– Как вы полагаете, сторожу можно довериться?

Я опешила. По мне, так я, конечно, полмизинца не доверила бы этому деятелю заступа и могилы. Тем более государственное дело.

Я замялась. Шумилов сказал:

– Думаю, что этот человек будет помогать нам.

Может быть, он вспомнил о сыне сторожа, убитом белогвардейцами.

Между тем мы незаметно вступили на территорию кладбища. Ворота были сорваны с петель, а ограда поломана. Тут, под большими развесистыми деревьями, царил полная темнота, пришлось светить себе фонариками.

Кладбище, конечно, невеселое место, но такое запущенное, да еще в ненастную погоду... Высокая трава стелилась под ветром и словно бежала за ним, силясь оторваться от земли. Тесно поставленные друг к другу кресты разной величины и формы казались кучкой соглядатаев, медленно и упорно бредущих за нами. Кирпичи, которыми была выложена дорожка, разъехались, и мы то и дело попадали ногой в глинистое месиво, намытое недавним дождем.

Шумилов пробормотал:

– Сцена на кладбище из «Гамлета». Как это у Шекспира? «Но если сон виденья посетят...»

Я никак не могла продолжить этот разговор. О Гамлете я знала только, что он был представителем паразитирующего класса и от нечего делать разыгрывал комедию с привидением. По-видимому, моего начальника интересовало в «Гамлете» нечто иное.

Как-то неожиданно моргнул между веток ели тусклый желтоватый огонек, и мы оказались у самой сторожки. Занавески на окне не было, и, подойдя вплотную, мы увидели Пал Палыча за непокрытым деревянным столом. Перед ним стояла наполовину опорожненная бутылка и какая-то еда.

Мы стукнули в окно. Сторож подошел и, приставив ладонь ко лбу, силился рассмотреть нас.

– Это попутчики ваши, Пал Палыч, – сказал Шумилов, – не прогоните?

Сторож не только не был поражен появлением непрошенных гостей, но, кажется, даже обрадовался нам. Вероятно, в его мрачном обиталище посетители бывали редко.



Мы с удовольствием приняли приглашение, так как изрядно продрогли. Наливая нам самогон, сторож сказал:

– Вот беда-то моя, тут бы вина налакаться да затихнуть. Так нет: не принимает вина беда моя... А вас какое дело привело сюда?

– Государственное, – ответил Шумилов. – Вы нас простите: мы обманули вас. Не ревизоры мы. Я – следователь, Иона Петрович Шумилов, это моя помощница, Таисия Пахомовна Смолокурова.

Сторож молчал, ждал, что будет дальше.

Шумилов рассказал о мнимом самоубийстве. Пал Палыч слушал, сгребая в кулак бороду и снова отпуская ее. Потом он сказал:

– Значит, Дмитрий Салаев жив, а убит кто-то другой, кто выдавал себя за Салаева? Зачем? Вот в чем заковыка.

– Пал Палыч! Ответ на этот вопрос даст следствие. А сейчас необходимо найти метрическую книгу Сергиевской церкви. Вот я и подумал, что вы не откажетесь помочь нам. Помню, вы говорили, что работаете на кладбище много лет. Уж, верно, имели дело с церковными регистрациями. Где искать концы – посоветуйте.

Старик захватил в кулак бороду и стал вслух припоминать. Из его слов выходило так, что после пожара все, что уцелело в церкви, – книги, утварь, иконы, – снесли в дом священника. Может, и сейчас всё там: где-нибудь на чердаке валяется...

Это звучало обнадеживающе.

И Шумилов спросил:

– А сам священник?

– Он теперь уже не священник, – сказал Пал Палыч и стеснительно пояснил. – Отец Герасим в нэп ударился.

Вспомнив Амвросия, я несколько не удивилась. Не выказал удивления и Шумилов.

– А именно? – спросил он деловито.

– Поскольку электричество в нашем Липске отсутствует, святой отец на свечках подрабатывает.

Шумилов о чем-то раздумывал. Потом он спросил:

– Как вы думаете, Пал Палыч, если человек, которому нужна метрика, обратится к отцу Герасиму, согласится тот поискать запись в книге?

– Это смотря кто обратится.

– Скажем, учитель Салаев...

– Нет. Это не пойдет: Салаев в обществе «Безбожник» заправила...

– А вы не могли бы?..

– Попробую. Если, конечно, что сохранилось...

Мы надеялись.

Утром нас с большим трудом соединили по телефону с губернией. Перебивая хриплые голоса, докладывающие о ходе уборки огородных, Мотя Бойко кричал:

– Результаты экспертизы: автобиография в губоно написана, безусловно, не тем лицом, что предсмертная записка и бланк для приезжих...

Иначе и быть не могло: автобиографию в губоно писал настоящий Дмитрий Салаев. «Бланк для приезжих» и записку Люсе – его двойник.

Конец дня принес нам новую неожиданность.

Отец Герасим встретил Пал Палыча, старого знакомого, приветливо. По горло занятый свечным производством, в котором участвовало все его многочисленное семейство, облаченный в закапанный воском подрясник с засученными рукавами, поп предложил: «Ищи сам, что

тебе надобно. В сараюшке много чего свалено. Если тебе выписку, возьмешь книгу, сходишь в загс: там оформят. А мои права кончились».

Пал Палыч углубился в поиски и в конце концов нашел метрическую книгу Сергиевской церкви. На записи рождения Салаева имелась надпись: «Выдано свидетельство». При каких обстоятельствах и на каком основании, какой документ предъявил мнимый Салаев, поп решительно не помнил. Что, впрочем, было понятно, учитывая давность факта.

Соучастие попа казалось маловероятным. Шумилов вдруг заторопился, сказал, что в Липске нам больше делать нечего.

Ночью мы уехали. На этот раз мы попали в проходящий поезд и были одни в купе. Шумилов положил на столик лист бумаги, и мы построили схему.

Что нам известно?

1. В гостинице «Шато» убит неизвестный, присвоивший себе имя Дмитрия Салаева.

2. Убитый обладал подлинным метрическим свидетельством на имя Дмитрия Салаева, обманно полученным им или его сообщниками, и хорошо подделанным удостоверением на его же имя. Кроме того, подкрепить эти документы должны были часы с дарственной надписью на имя дяди Салаева.

3. Потерпевший (мнимый Салаев) был связан с некой Люсей. Можно предполагать, что Люся осведомлена о каких-то обстоятельствах истории убитого.

4. Можно предполагать также, что подлинное письмо Люсе унесено убийцей, чтобы создать видимость самоубийства. На стол же положен вариант письма, найденный в корзине под столом...

5. Карманы пиджака убитого были вывернуты в поисках чего-то, а на месте преступления найдена кнопка от счетной машинки. Можно предположить, что она служила предметным паролем.

А что нам неизвестно?

1. Кто убитый. Мы не имеем сведений о том, что исчез какой-то человек в городе, – убитый словно свалился с луны.

2. Кто убийца.

3. Кто сообщники.

4. Нам неизвестен единственный возможный свидетель по делу, неизвестно даже его имя, поскольку Люся могла быть и Людмилой, и Еленой.

Мы ничего не знали, все было плохо...

Мотя важно восседал за столом Шумилова. На Моте была толстовка цвета электрик с перламутровыми пуговицами. Перед Мотей сидела заплаканная женщина.

– Так вы говорите, вас избили? – спросил Мотя и радостно засмеялся: это он заметил нас...

Во время нашего отсутствия Мотя проявил самостоятельность. Это стало ясно, когда мы начали знакомиться с происшествиями минувших дней.

– Докладывайте, Мотя, – сказал Шумилов, – что тут без нас случилось.

– Слушаюсь! Разрешите доложить в первой серии: в доме пять по Колокольной обнаружен человек без признаков жизни.

– Как это «в серии»? – морщась, спросил Шумилов. – При чем тут «серия»? Кино это, что ли?

– Разрешите доложить, что еще почище кина будет! – Мотя добавил таинственно. – Труп – жилец этого же дома!

– Оригинально! – заметил Шумилов без улыбки. – Что же это, самоубийство?

– К сожалению, – вздохнул Мотя.

– Почему к сожалению?

– Ну все-таки было бы интереснее, если бы... – Мотя спохватился и поспешно досказал. – Печально, Иона Петрович, когда молодой человек сам по себе кончает счета с жизнью!

Довольный таким ответом, Мотя оглянулся на меня.

– А чем доказано, что это самоубийство?

– Всем, Иона Петрович. Опрос свидетелей, предсмертная записка, несчастная любовь... А главное – заключение экспертизы... – Мотя кашлянул и, вытянув шею, ткнул пальцем в лист дела. – Вот здесь, в деле, протокол осмотра трупа и места происшествия. Я писал.

– Шикарный протокол! – шепнул мне Мотя, пока Шумилов пробежал глазами документ. Но Иона Петрович услышал.

– Действительно шикарный! – Начальник громко прочел. – «Лицо жертвы...» Позвольте, почему жертвы, если это самоубийство?

– Так я ж, когда писал протокол, еще не знал. Надеялся, гм... думал, что убийство. С «жертвой» как-то покрасивше, – признался Мотя, плутовские глаза его сверкнули.

Шумилов нахмурился и продолжал:

– «Лицо жертвы было покрыто смертельной бледностью и лошадиной попоной...» Блестящий стиль! А откуда попона?

– Не могу знать, Иона Петрович, накрыл, значит, кто-то чем пришлось.

– А это что? «Подлый убийца бросил на место кошмарного преступления кулёк, наполовину наполненный хвасолью...»

– Детали, Иона Петрович, – пробормотал Мотя. – Вы же учили примечать детали и заносить в протокол осмотра.

Пока мы ездили, Мотя раскрыл еще одно «кошмарное преступление». На этот раз совместно со служебной собакой Неро.

Дело называлось: «О похищении 386 рублей 12 копеек из кассы продуктового магазина № 39».

Непонятно, каким образом Моте удалось заручиться содействием пожилого, солидного сотрудника уголовного розыска Иванова, но факт оставался фактом: Иванов прибыл по вызову Моти в магазин № 39 вместе со служебной собакой Неро.

Об остальном красочно рассказывал составленный Мотей акт.

«Акт применения собаки-ищейки Неры, – писал Мотя. – Я, секретарь нарследа-один, совместно с проводником служебной собаки Неры Ивановым и с вышеозначенной собакой Нерой, прибыл в магазин пищевых продуктов № 39, где, согласно заявлению кассирши Лидии Смирновой, было похищено из кассы 386 рублей 12 копеек. По прибытии в магазин собаки-ищейки Неры кассирша заявила: "Не надо искать 386 рублей 12 копеек. Не надо применять служебную собаку Неру. Потому что деньги взяла я"».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.